

251

# ГРАНИ

GRANI

Г  
Р  
А  
Н  
И

251

2014

2014

---

Juillet – Septembre

# ГРАНИ

**Ежеквартальный литературный журнал**

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,  
философия, публицистика,  
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,  
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,  
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,  
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,  
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,  
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,  
С. Левицкого, Н. Лосского,  
В. Максимова, О. Манделъштама,  
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,  
Б. Пастернака, К. Паустовского,  
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,  
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,  
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина  
и многих других отечественных  
и эмигрантских авторов.

\* \* \*

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов  
Редактировали:  
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,  
Б. В. Серафимов  
1947–1952 Е. Р. Романов  
1952–1955 Л. Д. Ржевский  
1955–1961 Е. Р. Романов  
1962–1982 Н. Б. Тарасова  
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч  
1984–1986 Г. Н. Владимов  
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года  
Издатель и Главный редактор  
**Татьяна Жилкина**

Редакционная коллегия:  
Алла Ависова, **США**  
Ирина Басова, **Франция**  
Тамара Жирмунская, **Германия**  
Зоя Калинина, **Франция**  
Александр Немировский, **США**  
Геннадий Николаев, **Германия**  
Николай Сундеев, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–  
Сан-Франциско**

# Г Р А Н И

*МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ  
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ  
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL*

---

Год LXIX

№ 251

2014

---

## СОДЕРЖАНИЕ

*«В прекрасном году тринадцатом...»* 5

### *XX ВЕК*

Александр ДОРОШЕНКО.  
Книга Чисел и Книга Бытия 6

### *ПУБЛИЦИСТИКА*

Ирина КОРНИЛОВА-БАСОВА.  
Крым — клубок проблем 34

Олег ВОРОБЬЕВ.  
Геофизическая версия гибели  
подводной лодки «Курск» 40

### *ПОЭЗИЯ И ПРОЗА*

Валентина БОТЕВА.  
«...Гудок. Голубые огни» 49

Ольга ТИХОВСКАЯ.  
Берегиня с улицы Киевской 63

Александр НЕМИРОВСКИЙ.  
«...Закат, отражённый от белого камня» 80

Геннадий НИКОЛАЕВ. Тендряков на Байкале	94
Николай СУНДЕЕВ. Город для сказочника. <i>Лирические этюды</i>	111

#### **ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ**

Елизавета ПАРШИНА. Военная контрразведка	134
---	-----

#### **ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА**

о. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ. О музыке и смерти. <i>Александр Блок</i>	157
Владимир КАЛАШНИКОВ. Всеякий и Никто. «Улисс» Джеймса Джойса	175

#### **НАСЛЕДИЕ**

Николя ВЕРТ. Великий голод 1932–1933 годов на Украине	201
--	-----

#### **ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ**

Майя ПОЛЕХИНА. «Путь комет – поэтов путь»: о судьбе художника в поэзии русского Зарубежья первой трети XX века	221
<i>Коротко об авторах</i>	231

*Обложка художника Н. Мишаткина*

*Эмблема – «Парус»  
Художник И. Иогансон*

Им — через сто лет  
В прекрасном году тринадцатом,  
После всяких Манчжурий,  
Братцы, вам постараться б там,  
Чтоб здесь было всё в ажуре.

Что же молчишь, сестрица, ты?  
Надо бы постараться!  
«Четырнадцатый... четырнадцатый...»  
Вышивает на пяльцах.

Валентина Ботева

Александр Дорошенко

**Книга Чисел и Книга Бытия<sup>1</sup>**

1900–2000<sup>2</sup>

*Вы думаете, проходит время,  
— нет, это проходите вы.*

*Человек, пишущий о себе  
и своем времени, —  
единственный пишущий о всех людях  
и всех временах.*

Бернард Шоу

*Глядим на лес и говорим:  
Вот лес, корабельный, мачтовый,  
Розовые сосны  
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,  
Им бы поскрипывать в бурю  
Одинокими пиниями  
В разъярённом безлесном воздухе;  
Под солёною пятою ветра устоит отвес,  
Пригнанный к пляшущей палубе.*

*И мореплаватель,  
В необузданной жажде пространства,  
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра,  
Сличит с протяжением земного лона  
Шероховатую поверхность морей.*

---

<sup>1</sup> В Числе выражены наши заблуждения, но Истина только в Слове!

<sup>2</sup> Журнальный вариант. — *Ред.*

*А вдыхая запах  
Смолистых слёз, проступивших сквозь обшивку корабля,  
Любуясь на доски  
Заклёпанные, слаженные в переборки  
Не вифлеемским мирным плотником, а другим –  
Отцом путешествий, другом морехода, –  
Говорим:  
И они стояли на земле,  
Неудобной, как хребёт осла,  
Забывая верхушками о корнях,  
На знаменитом горном кряже,  
И шумели под пресным ливнем,  
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли  
Свой благородный груз.*

*С чего начать?  
Всё трещит и качается.  
Воздух дрожит от сравнений.  
Ни одно слово не лучше другого,  
Земля гудит метафорой,  
И лёгкие двуколки,  
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай,  
Разрываются на части,  
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.*

*Трижды блажен, кто введёт в песнь имя;  
Украшенная названием песнь  
Дольше живёт среди других –  
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,  
Исцеляющей от беспамятства,  
Слишком сильного одуряющего запаха –  
Будь то близость мужчины,  
Или запах шерсти сильного зверя,  
Или просто дух чобра, растёртого между ладоней.*

*Воздух бывает тёмным, как вода,  
И всё живое в нём плавает как рыба,  
Плавниками расталкивая сферу,  
Плотную, упругую, чуть нагретую, –*

*Хрусталь, в котором движутся колёса и шарахаются лошади,  
Влажный чернозём Нееры, каждую ночь распаханый заново  
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.  
Воздух замешан так же густо, как земля, —  
Из него нельзя выйти, а в него трудно войти.*

*Шорох пробегает по деревьям зелёной лаптой;  
Дети играют в бабки позвонками умерших животных.  
Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.  
Спасибо за то, что было:  
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счёте.  
Эра звенела, как шар золотой,  
Полая, литая, никем не поддерживаемая,  
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».  
Так ребенок отвечает:  
«Я дам тебе яблоко», или «Я не дам тебе яблока».  
И лицо его точный слепок с голоса,  
Который произносит эти слова.*

*Звук ещё звенит, хотя причина звука исчезла.  
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,  
Но крутой поворот его шеи  
Ещё сохраняет воспоминание о беге  
С разбросанными ногами, —  
Когда их было не четыре,  
А по числу камней дороги,  
Обновляемых в четыре смены,  
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.*

*Так  
Нашедший подкову  
Сдувает с неё пыль  
И растирает её шерстью, пока она не заблестит;  
Тогда  
Он вешает её на пороге,  
Чтобы она отдохнула,  
И больше уж ей не придётся высекать искры из кремня,  
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,  
Сохраняют форму последнего сказанного слова,*

*И в руке остаётся ощущение тяжести,  
Хотя кувшин  
наполовину расплескался  
пока его несли домой...*

*То, что я сейчас говорю, говорю не я,  
А вырыто из земли, подобно зёрнам окаменелой пшеницы.  
Одни на монетах изображают льва,  
Другие —*

*голову;  
Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепёшки  
С одинаковой почестью лежат в земле.  
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.*

*Время срезает меня, как монету,  
И мне уже не хватает меня самого.*

Осип Мандельштам. 1923<sup>1</sup>

## ***Сохрани мою Речь***

Однажды мы с приятелями шли на яхте в Город, возвращаясь с Кинбурнской косы. Штормило, яхта плясала на могучих и влажных плечах волн, и танец этот был похож на американские или русские горки, с той разницей, что механик ушел куда-то, запил надолго, и к тому же потерял ключи.

Все вокруг было стального цвета и берега угадывались серым и жирным графитным штрихом на темноте небосвода. Знакомые и любимые, а сейчас такие негостеприимные берега.

А потом мы впали в широкий полукруг Одесского залива и долго кружили, боясь идти к берегу, бушующее ночное море было безопаснее встречи с этими, грозящими гибелью, берегами.

---

<sup>1</sup> Основное стихотворение всей русской поэзии, ключ к пониманию нашей души и всех наших бед и радостей, вершина человеческого духа. Пишу эти слова стоя, говорю про себя шепотом, немею от высоких чувств, и даже не подбираю красивых слов!

Ночь, подвижная темнота моря, вязкая, плотная, осязаемая, как небытие, как накопившаяся масса времени... Кажется, что мы случайно впали в неведомый мир, первых дней, хранящийся здесь с незапамятных лет, мир без нас...

Мы дети земли, затерявшиеся в пространствах Вселенной, на границах земли и неба, вечные странники, удерживаемые тонкой цепочкой, от отца к сыну, и казалось мне, что мною, звеном этой цепи, сейчас подвешено к вечному Небытию мира наше хрупкое Бытие, к вечному Космосу маленькая песчинка Живого, хрупкая и такая ранимая, что голос мой, сейчас неслышимый в завывании волн, такой слабый, неразличимый, что он пронзает тяжелые горы облаков, стрелой возносясь ввысь, чтобы там кому-то передать Слово, Весть, Крик, — о нас, затерявшихся и терпящих бедствие в пучинах времени...

Что именно мне поручено это передать.

Я молился впервые в жизни, не о себе, не о хрупкости лодочки-бытия, но потрясенный Откровением, я говорил со Вселенной о помощи, о вразумлении, о даровании силы... Я говорил, как равный, обретший право на голос.

Я знал, что то, что сейчас говорю, говорю не я, звук этой неясной речи, испуганного лепета, шел из-за спины, из-за моей памяти, из-за моей краткой, как у мотылька-однодневки жизни, — я передавал Весть о нас, из прошлого в предстоящее...

Но странно, — я знал, что его, этот неслышимый и неразличимый шепот, не заглушить ничему... И когда начавшаяся в море гроза неслась к нам, погружая в глубины вод свои огненные когти, я знал, спокойно знал, что ей меня не достать, не оцарапать, не разодрать в клочья, как ей бы хотелось...

Я знал, что не могу и не должен остановить мою речь...

Немую, невразумительную, лишённую слов.

И я просил кого-то, неведомого, всемогущего, удивленного моими словами, смелостью моей заговорить с Ним, я требовал и усиливал голос, повторяя одно и то же, как заклинание, — и даже не о спасении жизни просил я, не о себе, не о

предках, окружавших меня сейчас, растворенных в этой вязкой, тяжелой массе вод, подступивших к сердцу, я просил о единственном, о сокровенном, — я шептал, —  
— сохрани мою Речь!

Я знал, если она затихнет, рухнет сразу и все, вот это, огромное и неохватное, но ему без моего голоса тоже не выжить!

### **Воспитание чувств**

*Лил жуткий дождь.  
Шёл страшный снег.  
Вовсю дурил двадцатый век...*

Александр Галич.  
«Легенда о табаке»

*Если ты не согласен с эпохой —  
— Охай.*

Юрий Тынянов

*С чего начать?  
Всё трещит и качается.  
Воздух дрожит от сравнений.  
Ни одно слово не лучше другого,  
Земля гудит метафорой,  
И лёгкие двуколки,  
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай,  
Разрываются на части,  
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.  
Трижды блажен, кто введёт в песнь имя;  
Украшенная названием песнь  
Дольше живёт среди других —  
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,  
Исцеляющей от беспомыслия.*

.....

*У вечности ворует всякий;  
А вечность — как морской песок<sup>1</sup>.*

Взять у бесконечности часть невозможно, она останется бесконечностью. Добавлять к ней что-нибудь бессмысленно, оно исчезнет в ее пучине без следа. Бесконечность противостоит нашей «конечности», и, может быть, это самая страшная проблема, отравляющая нам краткое земное бытие. Следует помнить, что мы, каждый из нас, живущих на земле, не все вместе, не массой неодушевленного планктона, но каждый, живший, страдавший и мучившийся, — мы и есть ее единственное измерение и единственный смысл самого ее существования.

Мы душа Вселенной, и, когда я ее вспоминаю, она покоится у меня на ладони, я ощущаю ее хрупкость и стараюсь не сжимать ладонь.

Трудно посчитать, сколько это лет, одно поколение, трудно понять, что оно, где проходит грань в восприятии мира, когда и как идущие следом отклоняются, когда изменяется их зрение на то же, что видим и мы, но взгляд их иной и видят они уже иное и иначе...

Борис Эйхенбаум сказал, что смысловая разница в поколениях составляет десять лет<sup>2</sup>. Но, если так, то столетие это десять колен. Потому что каждое поколение это одно колено. Десять колен это символ потери, символ утраты, знак неполноты, потому что без них мой народ не полон. И это символ ожидания и надежды, что ничто не было напрасным.

Когда мне было десять лет, младенцы в пеленках мне представлялись как бы еще не людьми, еще не пришедшими в мир. Когда было двадцать, десятилетние были для меня несмышленишками, но я замечал, что правила наших игр у них уже изменились. Когда стало тридцать, двадцатилетние только входили в смысл жизни, а я уже жил, и отвечал за себя сам, без подсказок со стороны, вернее, я перестал прислушиваться к таким подсказкам.

---

<sup>1</sup> Осип Мандельштам, 1913 год

<sup>2</sup> Лидия Гинзбург передает свою беседу с Борисом Михайловичем в книге воспоминаний «Человек за письменным столом».

Когда мне стало пятьдесят, я начал понимать сорокалетних, у меня могли уже быть с ними общими дела и мысли. В шестьдесят они приблизились ко мне в восприятии мира.

Дальше эта десятилетнее различие исчезло. Мое поколение себя изжило и слилось с предыдущим, постепенно растворяясь в небытии. Мое поколение затормозилось, поредело, и, следующие за ним, теперь проходили его насквозь, не ощущая преграды.

Прошедшее столетие—это десять пропавших колен. На самом деле термин неверен. Они сохранились, они живут за рекой, имя которой Самбатсион. Они там сильны и счастливы. Они о нас помнят, и, когда наступит день беды, они за нами вернутся.

Но есть иной счет, где принято, что на столетие времени приходится три поколения. Деды, отцы и внуки. Человек это столетие может видеть и строить, восприняв мир от отца, воспитав сына и передав ему и через него внуку свое понимание мира людей. Принципы поведения и морали, планы и надежды. На больший промежуток времени дыхания не хватает и большего не охватывает взгляд.

Но время ускоряется в своем движении. Это чувствует человек, вторая половина его жизни проходит быстрее, года ускоряются и укорачиваются. Это чувствует и само время жизни людей, оно ускоряется, куда-то торопясь и боясь не успеть. Причиной этому не только рост скоростей передвижения и доступности самых дальних уголков земли, но что-то происходит с самой тканью нашей жизни.

Мы покоимся в Вечности. В Вечности нет места времени. Дарованное нам чувство времени спасает нас от ужаса случайности и сиюминутности нашего бытия. Оно создает иллюзию движения, причастности, связи, ощущение, что в мире хотя бы что-то привязано к нам и изменяется вместе с нами. Иначе мы бы не выдержали<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Мы доверяем прошлому. Оно устойчиво и, несомненно, оно уже состоялось и не изменится, нам оно не изменит. На самом деле, и мы иногда об этом догадываемся, прошлое изменяется вместе с нами. Мы верим будущему,—оно наступит и уже поэтому имеет несомненную

В рамках своего поколения мы сосредоточены полностью. Мы успеваем прикоснуться к отцам, вывести в жизнь детей и увидеть внуков. Книги, лучшие и любимые книги, о жизни предыдущих, невидимых поколений, странным образом не ощущаются как прошлое и ушедшее навсегда. Они сливаются с нашим временем, становятся неотличимыми от нашей жизни, разве что странности в одежде и транспорте, и еще немногие слова, теперь утратившие употребление. А так, все, как у нас, слезы и улыбки, радости и печали, а беды, они просто общие, данные нам неизменными, на все времена людей на земле. Впрочем, так умеют читать книги только дети, единственные читатели земли.

Нас объединяют беды, радости нас сводят на время и неизбежно разъединяют, они не общие, они каждому свои и поделиться этим невозможно. Но беды рождают смысл жизни, ее глубинные сокровенности, почву, на которой мы растем, и это общая почва. Не общие радости, но общие переживания и страхи и опасения рождают крепость и нерушимость семейных уз. Как четко схвачен смысл слова «семья» словом «узы», — от «узилища», а оно, видимо, от понятия «узко», «узкая щель»... Лев Толстой в «Анне Карениной», рассказывая о свадьбе Левина и Кити, говорит о том, как они вместе поехали ухаживать за умирающим братом Левина, и как эта совместно перенесенная тяжесть сблизила их и сделала их семьей.

Мы сравниваем себя, свою жизнь и жизнь общества с тем,

---

ценность. Настоящее мы пробегаем безоглядно. Оно подозрительно. Оно неподвижно, потому что время привязано к нам, и не имеет системы отсчета, не имеет фона. В «поколении» важны отцы и деды, это фундамент. И ценность представляют дети и внуки. Мы — передаточное звено.

В этом смысле важным является чувство времени у религиозных евреев. Они не столько жили, как ждали. Смысл жизни для них был ожиданием предстоящего, прихода Мессии. Поэтому главные события прошлого, самого отдаленного, невидимого за толщей лет, они ощущали происходящим сейчас и непосредственно с ними. Еврей любого поколения, любого тысячелетия своей дрящейся истории, был реальным свидетелем разрушения Храма, в том смысле, что сам стоял среди очевидцев и видел падающими святыне стены. В том смысле, что падающий из этих святых стен осколок камня, отскочив, ранил непосредственно его.

что было у отцов, и мы с удивлением и беспокойством замечаем изменения картины мира, в который уже погружены наши дети. Ткань жизни насыщается новыми знаниями, технологиями и вещами, но, странным образом, в ней появляются и проявляются трещинки, трещины и разрывы.

Она пересыщена, как бывает пересыщенным раствором на краю выпадения смысла.

Это страшное двадцатое столетие нашим сознанием было разбито по десятилетиям, так оказалось удобным его представлять и вспоминать. В русском языке счет начинается медленно и выражена эта медленность одним словом, с уместной краткостью, — десятиые, двадцатые...

Потом, ускоряется, — пяти-десятые, шести-десятые, как колеса паровоза, отстукивающие промежутки пути, а в самом конце, когда все пройдено, прожито, и пережито, для оставшихся лет русский язык прибережет последний десяток, как и начинал счет, — девяностые.

Птица-тройка.

Мы медленно запрягаем, это не означает, что долго обдумываем, просто с лентой, потом несемся стремглав, не выбирая пути, потом долго падаем в небытие... Куда несешься ты? — нет ответа, так думалось Гоголю, но мы ответ раскопали, и только на русском можно найти правильный ответ, — к е-б-м. несусь!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «К е-б-м.», — это наше любимое национальное выражение можно, по Сергею Довлатову, передать словом «абонамат», так выражался его дед-армянин, смертельно пугая своих женщин этим страшным словом. Мой приятель в Израиле, Хромой Марик, рассказал мне чудную историю с этим словом. Он уже несколько лет был в Израиле, только-только пошло дело, он был электрик, и вот тут он въехал на красный свет, а в Израиле это бешеные деньги штрафа. И на его еврейское «счастье» стоит полицейская женщина и его к ногтю, мол, говорит она ему на иврите, Вы страшно нарушили и Вам полагается штраф... Марик уже к этому времени иврит понимал. Но ей он говорит по-русски, вставляя немногие разъяснения на иврите, что плохо знает еще язык новой родины, что... Она ему вновь, уже медленней и громче, как мы обычно и говорим с плохо знающими язык, или глуховатыми людьми, все повторяет. Марик вто-

И то сказать, что это за понятие такое, «птица-тройка»?! — ведь на поверхности все лежит, наглядно, ведь трехглавая птица, это Дракон, это наш родной русский Змей-Гориныч, герой наших сказок и основа нашей истории, — вон он летит, высоко в небесах нашей Родины, извергая огонь негодования из каждой своей пасти, по очереди, наклоня грозную свою голову над нашими непутевыми головами, предупреждая, одергивая, оберегая от наших национальных поступков, всегда направленных против нас самих...

Мы дети трехглавого Дракона, самого доброго, самого беспомощного, самого безутешного Дракона во всей всемирной истории людей на земле. Был у нас трехглавый Дракон, был двуглавый Орел, остались мы с всадником без головы!

Станный у нас характер, — мы вглядываемся в соседей и пришельцев, мы присматриваемся с подозрением и неприязнью, мы впитываем их в себя, и вот, когда попривыкнув, поняв и освоив это новое, мы вдруг различаем в этих пришельцах и поселенцах свое лицо, самое себя, — вот тут то мы и начинаем их ненавидеть, — от всей души и от всего сердца...

Достаточно вспомнить монголо-татаров, пришедших к нам на свою голову, и мы, в короткое время, сразу же и постепенно, перехватили, черты внешние, — эту суженность не-

---

рой раз тянет свою песню, и, когда это все пошло по третьему кругу, полицейская в сердцах сказала, — «Лех абонамат!», — и Марик уехал. «Лех» на иврите означает «пошел!»

На нашем севере, на линии Ленинград-Мурманск, есть город Кемь, в советское время транзитный пункт на Соловки, и у местных жителей хранится предание о происхождении имени их родного города, — когда, еще при Екатерине, гнали приговоренных к пожизненной ссылке на север, то здесь кандалы снимали, отпуская именно «к е-б-м.», — самое симпатичное, что эти жители так и продолжают там жить, с таким названием своего города, и, похоже, этим даже гордятся.

Интересно и то, что евреи, столетия жившие с нами бок о бок, так и не переняли наш национальный язык, но наоборот, вся воровская «феня», блатной жаргон, нацело оказался построенным на идиш с немногими включениями из иврита. Мы с народом евреев слиты в единую монету, в аверс и реверс, но монета, лишенная одной стороны — пустьшка.

навидящих глаз, эти широкие, как масленичные блины, скулы, эту плоскость лица, в которую впечатана бесконечность российских пространств, которых нам всегда не хватало и не хватает, — эту вечную тягу к Последнему теплomu морю, которое лучше, чем все, что у нас есть, к которому мы неизбежно выйдем, и там омоем свои кровавые руки и пот с лица оботрем...

Мы взяли у этих пришельцев все, имена и кровь, и настолько стали ими, что лучшая часть нашей культуры, литературы нашей Великой, всемирной, Русской, обозначена именами потомков татарских, — Державина, Кантемира, Карамзина, Тургенева, Чаадаева, Булгакова, Куприна, Арцыбашева, Замятина, Ахматовой, Набокова...

Так что татаро-монгольское иго началось и осталось внутри нас, мы как страшный плазменный шар катимся по планете, подминая, впитывая с любовью и кровью, делая своим, но это нас не может насытить, никогда и никак не могло и теперь не может!

В этом столетии сначала мы жили перед Японской, потом перед Первой, потом перед Гражданской (мы жили перед этой страшной братоубийственной войной все предыдущее столетие, которое тоже можно бы расчленить на десятки, и выделить в них характерные черты, но главное, что там было, это всеобщая неторопливая подготовка, накопление сил, злобы и ненависти, русских к русским, народа к образованным, немых к говорящим, лишенных к имущим... и это оказалось основным в деле подготовки к решительной схватке самих с собой), потом перед Внутренней, братоубийственной, потом перед Второй мировой...

Пять первых десятилетий, — пять непрерывных войн:

— Русско-Японская, — разбегом и разгоном, примеркой;

— Первая Мировая, — здесь гул орудий, слова не слышны, мы перешли на шепот;

— Первая Гражданская, — наша Вторая Смута;

— Вторая Гражданская, — в лагерях и ссылках, в раскулачиваниях и расстрелах...

— Вторая Мировая, — здесь даже шепот излишен...

Наша Гражданская война продолжалась более тридцати лет! Тридцатилетняя братоубийственная война от двадцатых до пятидесятых. Мы боролись друг с другом и переделывали друг друга, а неподдающихся убивали.

С каким наслаждением, с какими светлыми ожиданиями, с какой надеждой мир начал готовиться, после гибельной Первой, ко Второй гибельной войне... Повсеместно везде, — в униженной Германии, для реванша, в счастливой советской России, для справедливой обороны и предстоящего счастья всего прогрессивного человечества...

Человечество бывает прогрессивным и плохим. А счастье наше ожидается только в предстоящих временах. Как стали делить мир, что Германия, что Россия, облизываясь, осматриваясь, раскосыми и жадными глазами...

Все войны пришлось на первую половину XX века. Как гибельная часть синусоиды, ушедшая в глубины Преисподней. Все счастье этого века, тишина и покой, пришлось на вторую недолгую его половину. Как великолепная часть синусоиды, поднявшая нас, вознесшая к Обетованным небесам...

Вторая половина этого века оказалась лучшим временем Человечества. Неужели же, чтобы получить что-то, надо сначала все полностью, до последнего самого, потерять? И почему обретенное наше счастье всегда только в борьбе, через океан крови и слез? Со слезами на глазах, — бывало ли у нас когда-нибудь иным счастье?!

Лучшее время Человечества, вторая половина XX века, подаренное нам, как передышка, как прощальный незаслуженный подарок, как извинение за то, что с нами случилось, но, главное, за предстоящее.

«Преимственность поколений равносильна опыту очевидцев»<sup>1</sup>

У меня бывает чувство, что через мои глаза, как бы сквозь меня и меня помимо, кто-то внимательно рассматривает мой

---

<sup>1</sup> Мне неизвестно, кто и когда это сказал. — А.Д.



солнечном ветру, они питаются силой солнца, единственные из всего живого, они набираются солнечной силы, и силу эту, жизненную, они передают своим ветвям и стволу и корням, в глубинах земли лишенным солнца.

Но каждый листик, из мириада одновременно рожденных, неповторим, — размером, формой, изогнутой и прихотливой, рисунком своей ладони, рисунком зубчиков по краю, — как мы, как каждый рожденный на земле человек. Этот маленький листочек, такой беззащитный на ветрах и ливнях, такой трепетный, он единственный из всего живого способен получать живительную силу Солнца и передавать ее нам, всему живому миру Земли, и без него мы бы никогда не состоялись.

И так растет дерево, вглубь, за живительными соками земли, ввысь, поднимая свои раскрытые навстречу солнцу ладони, как дитя тянется к матери, безошибочно зная, что в ней, матери, надежда, здоровье и жизненный путь.

Так растет дерево, целый год, и листья кружатся на ветру, под ливнями дождей, вымытые, они протягивают чистыми свои листья-руки навстречу жизни, к солнцу. Они поворачивают свои ладони, они поворачивают свои ветви, выкручивая их навстречу солнечной силе. И маленький листик, безошибочно зная, где больше солнца, где жизнь, тянет за собою веточку, а та, ветвь, а ветвь ствол. Присмотрись к дереву, и ты увидишь, куда потянул, наклонил, и как изогнул мощный древесный ствол маленький хрупкий зеленый листок.

Так проходит год, и наступает осень, глухая, с холодом и нескончаемыми дождями. И листья, отжив свое, свою жизнь, украшают себя перед уходом, как женщина украшает себя, сберегая свою уходящую красоту. Они приобретают цвет, яркий, изжелта-красный, это кровь просвечивает через вены, переполняя тело листочка и выходя на его поверхность.

Зеленый, желтый и красный, — три цвета времени.

И опадают листья, кружатся в последнем жизненном танце, и падают на поверхность земли, укрывая ее ковровой невиданной красотой. Это поколение живет свой определенный срок, живет год ровно и уходит, чтобы смениться новым поколением, через зиму, через зимний долгий сон... На стволе

дерева так образуется годовое кольцо, след и вклад ушедших листьев, и так растет дерево, кольцами, кольцо за кольцом.

По весне приходит новое поколение, дети, маленькими клейкими листочками, но память хранит толща дерева, которую создали отцы-листья, и передает эту накопленную память и знания о мире, новым листьям, своим новым пришедшим детям. Они помнят заветы отцов, — это живительное солнце, это питательный и такой вкусный дождь, чуть-чуть припорошенный пылью, это ночная прохлада и сон.

Так растет дерево, сменой поколений, ежегодной, и созиданием этого чуда, древесного ствола, корней подземных и ветвей, чуть колеблющихся на ветру, сильных рук, знающих, что зима минует, минуют холода, долгий зимний сон отоспится, и вновь оживут дети-листья, ласково прикасаясь к материнскому стволу...

Уходят поколения листьев, строящих единое общее дерево, накапливая силу для последующих поколений своих детей и строителей, — листьев... Цикл жизни этих поколений меньше года. Год за вычетом нескольких месяцев зимы.

Наши деревья, лиственные, сродни нам. Они расцветают по весне, каждый раз вновь и впервые, поражаясь красоте и красочности нового, чистого, вымытого ливневыми дождями мира, — они встречают свою зрелость летом, изнывая, как и мы, от зноя, опуская к самой земле свои ветви и листья, и распрямляясь в ночной прохладе, их ветви колышутся, рождая прохладный ветерок, чтобы освежить нас, своих непутевых детей, — они берегут свою красоту на осень, перед уходом, как бы прощаясь, и дарят нам всю красоту мира, все цвета и формы, — и они засыпают в зиму, оголяя свои ветви-руки, скорбные материнские руки над опавшими листьями, и спят долго, укрытые снегами, защищенные корой, отстраненные.

Как и нам, им снится весна, снится лето, им слышны птичьих голоса, и наш торопливый шаг не может их пробудить...

Цикл нашей жизни, людей, много больший. Но так же, как эти хрупкие листики, мы приходим в мир на определен-

ное время жизни, так же шумим на ветру, весной, хорошея и набираясь силы, летом, обретая зрелость и красоту, осенью, умудренные знанием и опытом жизни, и так же уходим в свой срок, приведя на смену себе новое поколение.

Ровно как дерево, мы строим свой ствол, свою историю, свою жизнь, выходящую за рамки одного поколения, и, обернувшись, мы не помним и не можем разглядеть в толще тысячелетий своих далеких предков, вырастивших нас, напитавших кровью, и передавших нам знания и цель...

Я помню слова и руку отца, я помню деда и немного из сказанного им, я никогда не видел своего прадеда, мне о нем говорили, я понимаю, что он был, что моему отцу он был дедом, что моему деду он был отцом, но я знаю о нем так, как если бы никогда ничего вообще не знал. Но помню и понимаю, что он был.

А вот о его отце, о моем прапрадеде я ничего не знаю, и даже увидев его фотографию или портрет, я отнесусь к нему, как к чужому мне человеку.

Память нашего сердца, сердечная память, неглубока. Она простирается на глубину двух ушедших предков. Глубже копать бессмысленно. Это выдумка, это было не с нами.

Как и древесные листики, мы временны и хрупки. Но здание человечества, его мощный ствол, его красота и сила, остаются вечно, чтобы жизнь наша, людей на земле, не угасла, чтобы мы понимали и знали и могли строить дальше и иное, неизвестное предкам, но в новом нашем знании их мудрость и их сила и их понимание...

Их мудрый взгляд через прорези наших, мало что успевших повидать глаз. Главное, их к нам любовь и их вера в нас, которую мы не должны и не можем предать забвению...

*Чужбина так же сродственна отчизне,  
как тупику соседствует пространство.*

Иосиф Бродский

Это время эмиграции, практический весь этот двадцатый век-волкодав.

К нам на побережье, на ночные пустынные наши пляжи, каждую летнюю ночь прибывает бутылка, кем-то брошен-

ная в море, — и в ней письмо. Но каждое утро бомжи собирают эти бутылки, они вытряхивают за ненадобностью эти письма, промывают бутылку и сдают ее в пункт стеклотары...

Страшная мысль приходит ко мне, что если вот также происходит и со всем остальным, что мы на коротком отрезке бега, из небытия в небытие, успеваем понять и сказать про себя, или вслух?

Что если и с этим поступают вот также, там наверху, ангелы-бомжи, с грязными крыльями, общипанные ангелы без судьбы и приюта, с пошатывающейся неверной походкой, Ангелы Бездомных, идущие райскими кущами, единственные из ангелов, кто еще вспоминает о нас, землянах.

И все главное, пусть немного, все любимое и святое, все, окрашенное нашей кровью и омытое нашими слезами, они собирают в свой грязный мешок и куда-то идут сдавать. Где этот склад, в котором принимают на хранение нашу отшумевшую жизнь?

«Поколение» — это не временные рамки, не полусотня лет. Это культурный поток, объединивший людей. Только тех, кто к этой культуре принадлежал. Их — меньшинство, из живших параллельно во времени. Очевидно, что поколение, это элитарный термин и он к общему числу живущих отношения не имеет. Такой культурный поток насыщен и напряжен, как волна, он захватывает все, что возможно захватить. Остальное остается на месте, — волна катится по неподвижному морю.

Так и вся наша история, — в ней участвовали очень немногие, и, к примеру, Англия — это десяток тысяч человек во всех ее поколениях, сколько их было, но может быть и меньше. Остальное недвижимо.

Но без толщи воды не бывает волн.

Поколению соответствует стиль. Не архитектурный, литературный либо иной, — стиль чувствования, ощущения жизни, ее основной тональности.

Моему поколению повезло и было оно лучшим на земле. В стране, не просыхающей от войн, от потоков слез и крови, мы,

дети войны, не стали ее солдатами, а в истории нашей страны такое полустолетие, — исключение. Мое поколение было лучшим из всех возможных способов интегрировано в мире людей, в культурной истории человечества.

Страна была закрытой в своих границах от внешнего мира. Но в результате, в нашей стране была представлена вся человеческая мысль и культурная мощь, благодаря уникальности качества и количества литературных переводов. Мир был представлен лучшим — за вполне понятными исключениями, но лучшим и в лучших переводах на русский язык. В литературе, в науке, в искусстве. В мире такого не было, и, уж наверняка, не будет!

Так подстригают виноградную лозу — срезают все боковые поползновения, если хотят придать ей стремительный вертикальный рост.

Мое поколение получило такие книги, в таких переводах, в такой массовости и дешевизне, — книги, где были лучшие имена человечества. И кроме книг — получило время спокойствия и саму возможность читать и думать.

Я читал Сервантеса и Раблэ и Стерна, а если не смог прочесть в то время Набокова, то я был хорошо к нему подготовлен, когда он попал ко мне в руки.

Но мои сверстники в этом золотом Зарубежье читали много меньше и исчезающее много меньше меня, и знали о человечестве много меньше, чем мы, и это выяснилось чуток погодя. Потому что только беда дарует человеку силы на постижение истины, или ломает слабых и нежизнеспособных. Свобода нужна только слабым.

Я читал и смеялся, и мы все смеялись над единым политднем, над передовицами в «Правде», над «сушеным» Вовкой-морковкой. Над косноязычным генсеком. Смеялись вовсе без надрыва, не били себя в грудь, не взвизгивали от негодования, что нам это навязывают, — невозможно было нам что-нибудь навязать.

Так уверены, так спокойны, так умны были мы!

Делать в этой стране было нечего, — нельзя было ничего добиться в поверхностных формах общественной жизни, — в

капитале, в накоплении, в недвижимости, в любом частном деле. Страна в целом была лишена частного капитала и богатства. Оно не довлекло над лучшими, даже если они и хотели этого.

Это впервые в мировой истории слова Иисуса из Галилеи о разрушительной опасности богатства претворялись в жизнь, пусть и принудительно. Культурные горизонты, определившись, изменяли путь человека.

Это было уникальное общество, и оно не могло случиться в рамках эволюции, никогда! Из этого следует, что оно, наше общество, было даже и не опытом и произволом властей, но Божественным предопределением. Он дал силу большевикам, имея свои задачи. Он не видел иной возможности. Так в XX веке впервые в мировой истории реализовалось Слово Бога, пусть и частично, пусть только в одной стране.

Свободной областью оставалось творчество, знание и созидание. Больше некуда было приложить душу. И это создало в стране уникальный и единственный культурный слой, — по объему, уровню, глубине и массовости, насколько вообще может быть массовой культура.

Кроме естественных одиночек, вывихов в человечестве, которое есть всегда и в любом обществе, здесь оказалось то множество способных и талантливых людей, которое в иных условиях занялось бы всеми и любыми областями бизнеса и накопления.

Режим ограничивал многое, но все знали эти границы и знали, что они по сути ничего и никого не стесняют.

Диссидентами были все, вообще все мы, но худшие это делали своей профессией и призванием. Среди них были честные борцы и им наградой стала разрушенная страна, но были и искатели счастья. Последних было преимущественное большинство. Сумасшедших мечтателей всегда единицы, но они быстро обрастают искателями земного и земного счастья.

Диссидентами были самые неумные и честные, но и проходимцы, — искатели западного пирога. Коню было понятно, чем кончится развал такой страны, которая держалась лишь

скрепами режима, и в которой не было людей и сил, чтобы разумно перехватить руководство.

Лучшие — жили, смеялись над всем этим бредом, писали, читали, любили и строили — самих себя и своих детей. И время это дало нам возможность создать детей, которых мы и отправили в мир, — и это лучшее в нем, совсем не лучшим из миров. Таких детей, как наши, мир больше иметь не будет.

О достоинстве. Мы жили достойно. Среди друзей, среди культурных мировых горизонтов, среди дичающего человечества... И то, что было внешним проявлением режима нас никак и ни в чем, даже в самой малости не затрагивало.

Но отощавшие крысы, рожденные в поколениях крыс, и временно задавленные, ждали своего часа. Режим ошибался, он охотился вовсе не на тех! Это выяснилось сразу и в полную силу, под ликование одуревшего и отяжелевшего от тяжести наживы Запада.

### ***Беженцы бегут в свои беды***

Три страшных похожестью истории занимают меня.

Изгнание 1492 года из Испании. Изгнание двадцатого года из России. И наше, сегодняшнее Изгнание, из своей страны, из своего народа, из русской культуры.

Я вижу парусные корабли, они идут накренившись под ветром. Скрипят, как морские птицы, их паруса, пронзительным болезненным криком. Они идут от берегов Испании к африканским берегам и Константинополю, на палубе у бортов стоят беженцы, их очень много, потому что на всех не хватало места. Эти паруса мокры от слез.

И вновь идут корабли с беженцами. Эти корабли уже без парусов, мощные боевые корабли, но и они идут, как принято у беженцев, к Константинополю, африканским берегам и Испании, а на их палубах, вовсе не предназначенных для такой массы людей, стоят и лежат люди в русской военной форме...

Когда в 1492 году ушли корабли евреев в изгнание с земли, которая была их родиной в большей степени, чем у коренного народа, из языка, которым они владели лучше, чем коренной народ, еще не научившийся толком говорить, где они родили литературу Испании, именами Фернанда де Рохаса и Мигеля Сервантеса де Сааведра, они взяли с собой в изгнание Родину.

Потому что Родина, это земля, где живет родное Слово. Где оно может быть посажено в почву, маленьким замученным ростком, и подняться, и стать вновь могучим, и зазеленеть, и накрыть эту землю кроной, соединив глубины Земли с высотой Неба.

Так рождается наша земля, между твердой земной гладью, укрытой травами и цветами, где летает неторопливый шмель, поющий-жужжащий на родном языке, где на этом языке поют птица... Шмель жужжит на нашем родном языке, просто он говорит так быстро, что мы не успеваем его расслышать.

Родина—это вовсе не земля, поля и леса, и реки, Родина—это Слово!

А через четыреста с чем-то лет, в двадцатом году это случилось с нами. В стране восстали рабы. Их ненависть сметала и губила все живое. Восставший раб выбирает новое рабство, свобода его ненадежна, и вот он стремится разогнуться и рассчитаться с угнетателями. Стремиться насладиться свободой, понимая ее, как месть. Рабы зарезали царя, но и это было не новым.

Битва за Родину, за землю, за старые и новые ее столицы, за реки, за поля, за деревни и леса была проиграна. Как в 1492 году евреи, мы сели на чужие корабли и отправились в изгнание. Была проигранная битва за Слово. Потому что Слово дано немногим. Оно предназначено избранным, человекообразные его используют для коммуникации. Для физиологических отправления. Большая часть живущих живет вне Слова.

Потому что Слово,— это Откровение!

Но евреи не впервые уходили в изгнание и теряли под ногами почву. Был ассирийский гибельный плен. Те, кто тогда ушли с веревками на шее, Десять израильских колен, уже никогда не вернулись домой. Их кровь растворилась в крови других народов.

Был вавилонский плен, из него удалось вернуться, но вернуться не все, — для многих земля изгнания стала новой родиной. Были римско-иудейские войны, разрушенный Иерусалим и Храм, и долгая-долгая жизнь среди чужих народов.

Но евреи впервые в истории людей смогли что-то понять, и они записали Слово, и Слово стало для них плотью. Стало камнем горы и водой ручья. Записанное они взяли с собой в дорогу, — Родину, которой уже никто отнять не мог.

Так Бог лепил свой народ, из беды и несчастья, из потерь и пролитой крови, присматриваясь к полученному, и вновь разрушая и создавая вновь и вновь. Он лепил, не позволяя устояться форме, не позволяя прижиться в обиходе и комфорте, не давая привыкнуться и осесть этой форме, потому что смысл существует только в изменении, и потому что жизнь это не устоявшееся, не определившееся, но как вода, она течет по неподвижному рельефу, обтекая вросшие намертво валуны, и она жива, — пока течет!

Все устоявшееся, все обретшее форму, — мертво!

Евреи знали, что не вернутся. Что возвращаться уже никогда не придется, и поэтому надо жить на новом месте, среди чужих народов.

После Испании и до Польши они уже никогда и нигде не «заводили» Родину. Родина у них была в небесах, она была верой, и это была вся полностью исчерпывающе Родина.

Евреи воспринимали народы стран, куда приводило их изгнание, как рельеф местности. Как деталь этого рельефа, подвижную и ненадежную деталь.

Остальное в рельефе, тоже новое и часто необычное, — снега и смену времен года, весь мир живых существ, растений и животных, — они научились принимать с любовью.

Ведь любовь основана на взаимности.

*Сидели мы на реках Вавилонских и горько плакали*<sup>1</sup>

Мы верили, что вернемся. Сидели на этих реках Вавилонских, на Рейнах и на Сенах, как теперь они назывались, и горевали, и плакали, и ждали. Не распаковывали чемоданы. Но и у нас теперь было Слово, — родная речь и русский литературный язык. Слово стало для нас единственным якорем и надеждой. Мы здесь на чужбине стали жить Словом.

Но большинство ушедших в изгнание им не владели и от них ничего не осталось. Потому что в них ничего и не было. Когда исчерпались силы ждать и они утратили надежду вернуться, их не стало, — они «рассосались» как вода на песке, как десять пропавших колен Израиля. Мы, оставшиеся, стали хранителями Слова.

В парижской эмиграции читали мало. Бывшие солдаты читали плохо вообще, если и умели, офицеры читать не могли, — убивала работа, усталость и безысходность. Так соль нашей земли, русские поэты и писатели, впервые оказались в пустоте.

Родина — не земля, не поля, не лужайки, не барская дворянская усадьба. Родина — это родное русское Слово. Иной на Земле у человека нет и никогда не было! Родину можно взять с собою в путь. Это была литература, рожденная эмиграцией.

Не захваченная с собой, наследством, у которого на родине иссякли наследники, но рожденная именно здесь, не старшее эмигрантское литературное поколение, более-менее благополучное, но молодые, обездоленные в самой полной и в самой тяжелой мере.

Они бедствовали, — без куска хлеба, — без работы, — без читателей... Даже утопиться там было негде, разве что в Сене, а какая же радость русскому топиться в Сене?

Это было временем эмиграции, практический весь этот двадцатый век. В его начали эмиграция была еврейской.

---

<sup>1</sup> Псалом — А.Д.

В двадцатых годах она была русской, белоэмигрантской. В восьмидесятых и девяностых она стала смешанной, ехали все, кто мог, и куда только мог.

Почему мы бежим из родной страны?

*Отвяжись, я тебя умоляю!  
Вечер страшен, гул жизни затих.  
Я беспомощен. Я умираю  
от слепых наплываний твоих.*

*Тот, кто вольно отчизну покинул,  
волен выть на вершинах о ней,  
но теперь я спустился в долину,  
и теперь приближаться не смей.*

*Навсегда я готов затаиться  
и без имени жить. Я готов,  
чтоб с тобой и во снах не сходиться,  
отказаться от всяческих снов;*

*обескровить себя, искалечить,  
не касаться любимейших книг,  
променять на любое наречие  
всё, что есть у меня, — мой язык.*

*Но зато, о Россия, сквозь слёзы,  
сквозь траву двух несмежных могил,  
сквозь дрожащие пятна берёзы,  
сквозь всё то, чем я смолоду жил,*

*дорогими слепыми глазами  
не смотри на меня, пожалей,  
не ищи в этой угольной яме,  
не нащупывай жизни моей!*

*Ибо годы прошли и столетья,  
и за горе, за муку, за стыд  
— поздно, поздно! — никто не ответит,  
и душа никому не простит.*

Владимир Набоков. К России

Сегодня мы вновь в эмиграции, такой, какой не знали предки. Они сидели в Париже, в Берлине, в Праге, но знали, что есть Россия, Великая родная страна, что есть русский народ, что есть и будет куда вернуться. Пусть даже не собою, но Словом, рожденным в бедах чужбины и приготовленным, как семя, для родной почвы. Оно уцелеет, и, настанет время, оно прорастет, — там, на родине, — и заговорит с оставшимся дома народом.

Мы в эмиграции самой страшной, небывалой, невыносимой, — в своем доме, среди своего народа, — среди родных лесов, полей и рек...

Вот он, народ, многочисленный, как песок на морском берегу, и неотличимый, как эти песчинки... Не с кем говорить, некому передать Слово, как эстафету, как волшебную палочку передают из рук в руки. Такое множество людей, и нет человека, нет носителя Культуры, нет собеседника...

Слово больше не имеет места, не имеет Дома, где бы ему приютится. Мы живем среди бессловесного народа, перешедшего на мычание и мат.

Такую вещь описал Александр фон Гумбольдт, изучая великие культуры Латинской Америки. Когда мы ее открывали, безжалостно вырубая и уничтожая то, чего не могли понять, в одночасье был уничтожен весь культурный слой этого народа, и вот идут столетия, сохранился народ, и даже многократно умножился, но невозстановима когда-то великая культура, а сам народ уподобился полевым травам, всходят они, и уходят в свой срок, но культурной частью человечества этому народу уже не стать никогда.

Может быть, когда это случилось с нами, когда много тысячелетий назад наш шервобытный предок впервые поднялся на свои задние лапы и глянул на небо, и впервые из его пасти вырвался какой-то звук, не рычания и не угрозы, а непонятный, не выражавший привычного чувства, — может быть это было ошибкой, и все случившееся с нами дальше было вопреки, а не следствием эволюции, превратившей лучших из нас в людей. И то, что теперь происходит с большинством — есть просто следование нашей настоящей природе, возврат к пер-

вооснове, — и мы вновь опустимся на все четыре лапы, с радостью чувствуя, как отрастает хвост, и, взяв в руки странный предмет, в твердой корочке с мягкими и нежными побегами внутри, надкусим его, то, что мы, люди, называли книгой, она ведь вполне может сгодиться в пищу, мы ведь так и говорили о книге, — духовная пища.

*Кому сказать,  
И с кем мне поделиться  
Той грустной радостью,  
Что я остался жив?!*

Есть параллель. Чуть странная, но все же. Была первая волна эмиграции из России, не русская, а еврейская. На рубеже веков евреи покидали Россию из-за страшных и преступных ее законов.

Россия их выкинула за границы страны. Выехало тогда около двух миллионов евреев. Выехали они голые-босые, буквально. С семьями, с многочисленными детьми. Не зная языка и зная никому там неведомый идиш. Но это все были ремесленники, люди с профессией. Портные, обувщики, печатники, механики...

И они уже в первом поколении, начав в немыслимых условиях свою жизнь, в комнатах, где жило по двадцать человек сразу, они через десяток лет имели свои мастерские, лавочки и небольшие фирмы. А дети их, вот этот самый клоповник, который въехал, цепляясь за руку родителей, с перепуганными глазами, — дети эти пошли в университеты и стали элитой Америки.

Дети знали английский не хуже американцев, а многие — лучше! Эта первая волна эмигрантов в самом своем первом поколении и в нескольких следующих создала экономическую и интеллектуальную мощь Америки.

Это повторилось спустя семьдесят лет. Наши дети, всех наших национальностей, вновь стали на крыло. Рассыпалась страна и было понятно, что детям людьми здесь не стать, в этом безвременьи, где основной профессией стало воровство, а у способных, грабеж.

Америка — это не страна, это такая запасная для нас территория, где можно начать строить жизнь, пусть по иным правилам, но оставшись самим собой. Это как наши одесские дачи, куда горожане выезжали с первыми теплыми днями, но к зиме они непременно возвращались домой.

Именно так, не к теплу, к югу, как возвращаются птицы, но в наши снега и слякоть, в раскисшие дороги, — домой. Дом у нас один, пусть он старенький и покосившийся, и в нем как всегда непорядок, и всякие привычные беды, но это наш дом, и другого у нас нет, и не надо.

Вот это будет полезным помнить при анализе нашей эмиграции, всех ее волн. Понятие «эмиграция» себя исчерпало. Есть открытый мир, и мы просто заселяем его, лучшими в нем!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Продолжение в № 252. — *Ред.*

Ирина Корнилова-Басова

## Крым — клубок проблем<sup>1</sup>

Крым прекрасен и его красота ничуть не изменилась за пятнадцать лет нашей разлуки. Но, пожалуй, это его единственная константа среди той зыбкости, которая царит на полуострове.

Никогда так много о Крыме не писали и не говорили как сегодня. Это пристальное внимание свидетельствует о серьезности происходящего: достаточно сопоставить этот интерес с судьбами всех горячих точек мира.

Что в реальности происходит?

Два государства, Россия и Украина, исторически скорее дружественные, население которых не только не испытывает враждебности друг к другу, но зачастую связано и семейными узами; два государства, ослабленные почти до изнеможения, входят во все возрастающий конфликт из-за территории, которая, будем откровенны, не является ни для одной из сторон жизненно важной. С одной серьезной оговоркой: исключая Севастополь и черноморский флот.

Политический конфликт двух военных держав из-за Севастополя, грозящий перейти в вооруженное столкновение, можно назвать проблемой Крыма постольку-поскольку, но сегодня она заслоняет собой все иные, собственные проблемы Крыма, существенно влияет на их решение и провоцирует действия,

---

<sup>1</sup> Перевод с французского. Опубликовано в газете *Le Monde* 2 июля 1994 года в рубрике «Пространство Европы» («ESPACE EUROPEEN») под названием *Déchirure artificielle en Grimée*. — *Ред.*

продиктованные скорее политическими амбициями крымских руководителей, нежели их желанием успокоить страсти, играющие роль детонатора.

Основные проблемы Крыма многократно обозначены: его административный статус, рамки его суверенитета в составе Украины, его взаимоотношения с Россией, связь с которой — языковая, национальная, культурная — необычайно сильна; вообще проблема национальностей, населяющих Крым и проблема крымских татар в первую очередь, и, наконец, его экономика, находящаяся в состоянии полного упадка.

Но как выглядят эти проблемы, сошедшие со страниц газет в реальность каждого дня, потерявшие свою словесную оболочку, и тесно переплетенные как корни старых деревьев?

Вот тот вопрос, который возник сам по себе, когда прошла первая эйфория от встречи с возвышенностями и долинами родной земли.

Напряженное внимание ко всему, происходящему вокруг, в первую очередь отмечает общее состояние неопределенности и неустойчивости, которое царит повсюду, на всех уровнях. Видимо разрыв между историческим масштабом «переходного периода» и масштабом человеческой жизни и создает ощущение качающейся под ногами почвы.

Сегодня население Крыма живет в состоянии почти болезненном. С одной стороны — полное непонимание происходящих процессов именно в связи с невозможностью остраненно их увидеть.

С другой — неподготовленность людей, выросших в тоталитарной стране, не только принимать участие в решение государственных задач, но и решать собственные судьбы.

Наконец, неизжитое, также исторически сложившееся пренебрежение к человеческой личности, когда игнорируются ее интересы и приносятся в жертву государственным... которые в настоящая время тоже выглядят необычайно расплывчатыми.

В результате всего этого люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Проблемы, в решение которых они не принимают участия, только пугают их, вакуум, рожденный отсутствием полноценной информации, заполняется слухами,

слухи рождают фантомов и все это вместе только усугубляет стресс.

Страх, неуверенность в завтрашнем дне подавляют больше, чем материальные трудности, к которым народ достаточно привычен. Но возникает замкнутый круг: страх парализует волю, унижает дух, убивает позитивное отношение к жизни, без которого невозможно решение каких бы то ни было проблем. С буйной красотой весеннего Крыма резко контрастирует апатия людей, с муравьиным упорством занятых добыванием хлеба насущего.

Бросается в глаза изношенность технического парка — машин, автобусов, троллейбусов. Их «донашивают» как старые башмаки, но безо всякой надежды купить новые. Впечатление такое, что Крым живет по инерции, доедая и используя те ресурсы, которые, увы, приходится в этом признаться, были накоплены годами коммунистического правления.

Удивляет его непривычная пустыньность, безлюдные парки, пустующие санатории и дома отдыха. Национализированные, они почти все потеряли своих бывших хозяев, которыми были, в основном, украинские и российские министерства и ведомства, и стали собственностью Крыма.

Но содержать их крымской экономике не под силу. Перейти на самоокупаемость они не могут: снижение жизненного уровня на всей территории бывшего Советского Союза (и, безусловно, неурегулированный политический конфликт в самом Крыму) лишает полуостров отдыхающих, то есть его единственной реальной статьи дохода. Крым — это уникальный климатический курорт, его природа — это его единственное достояние и единственная надежда выжить экономически.

В упадке находится вся промышленность Крыма. На грани закрытия даже крупные предприятия, принадлежащие военно-промышленному комплексу, такие как симферопольский завод «Фиалент». Это создает проблему скрытой безработицы, которая не может быть официализирована из-за невозможности выплачивать пособия. Сотрудники пустующих санаториев, рабочие нерентабельных предприятий и служа-

щие закрытых на ключ учреждений не теряют своего статуса, но и не получают зарплату

Как выжить в такой ситуации?

Симферопольский аэропорт был одним из самых крупных в стране. Сегодня в Москву вместо трех ежедневных рейсов летают три самолета в неделю. В то же время два раза в день летают самолеты в Стамбул. Эти пассажирские рейсы нужно скорее отнести к разряду коммерческих. Стихийно, медленно, неуверенно формируется система новых рыночных отношений. Частная инициатива просыпается в силу необходимости выжить.

Торгуют повсюду, в том числе и товарами западного производства, поставляемыми, в основном, из соседней Турции. Торгуют на рынках, в киосках, на открытых лотках. Нет недостатка в основных продуктах питания. Но разобравшись в соотношении цен и покупательной способности населения начинаешь понимать, что люди в основной своей массе живут на грани нищеты.

Эта ситуация меняет ориентацию умов. Если в прошлом по меньшей мере половина выпускников средней школы продолжала обучение в высших учебных заведениях, сегодня эта, наиболее активная половина, предпочитает идти в торговлю, бизнес. Да и выбора у них практически нет: родители не имеют возможности помогать своим детям, живущим вне дома.

Приток молодых сил в коммерцию можно приветствовать. Но как скажется на дальнейшем развитии Крыма эта утечка умов из науки и талантов из культуры? Но сегодня мало кого волнует даже относительно близкая перспектива. Принцип жизни складывается почти как на войне: выжить, прожить сегодняшний день.

В этой ситуации непомерно, неадекватно усиливается дестабилизирующее звучание экстремистских высказываний. Они смазывают картину реальности, второстепенные запросы выдвигаются на первый план, решение проблем подменяется разговорами о них, немотивированными претензиями и обидами...

С первых, еще доперестроечных действий крымских татар, направленных на возвращение в Крым, жителей Крыма пуга-

ли их агрессивностью, намерением сводить счеты и прочее. Во многом это была политическая, целенаправленная акция и время показало, что запугивали, слава Богу, напрасно.

Но проблема эта не изжита. Нельзя забывать, что вернувшиеся люди — это не тот народ, который пятьдесят лет назад был насильственно угнан со своей земли. Сменились поколения, выросшие совершенно в иных условиях. Сегодня они, в общем-то, такие же пришельцы, как и те, кто пятьдесят лет тому назад приехал на их место. В этом контексте приходится констатировать, что исторического коренного населения в массе в Крыму не существует.

Вопрос ассимиляции крымских татар — это вопрос времени. Их предки были прекрасными земледельцами, животноводами, виноградарями. Этому есть свидетельства — многие еще помнят довоенный Крым.

Можно понять осторожные действия руководителей крымских татар: в случае вооруженного конфликта татары станут первыми жертвами ненависти.

При благоприятном развитии ситуации велика надежда, что их внедрение в крымскую почву будет благотворным и для земли и для людей, на ней живущих.

Еще одно «пугало» для людей, измученных страхами: преступность, о которой прежде просто молчали, сегодня сенсационно муссируется в печати. Безусловно, возникновение мафиозных структур, сопутствующее «первоначальному накоплению капитала», усилило в Крыму криминальный фон, но не до той крайней степени, которое рисует больное воображение.

Можно ли помочь Крыму? Безусловно, если удастся размотать клубок проблем, чтобы вычленишь ту, от которой зависит его духовное здоровье — нравственную.

Может быть ради этого стоит напомнить миру, что Крым, выросший в колыбелях двух культур — Востока и Запада, одна из редчайших жемчужин средиземноморского ожерелья, является исторической реликвией. Его красота, его климат и его географическое положение с давних времен определили ему избранное место.

Крым — это Бахчисарайский дворец крымских ханов, античные развалины Херсонеса, пещерные города древних караимов.

Крым — это Ливадийский дворец русских царей и Алуштинский дворец губернатора Крыма графа Воронцова.

Крым — это земля, с которой связаны великие имена Пушкина, Толстого, Чехова.

Это всего-навсего исторические факты, которые не хотелось бы бросать ни на одну из чаш политических весов.

И вернувшись из глубины времен попробовать с вниманием и состраданием отнестись к ежедневным заботам, страхам, и надеждам людей, большинство из которых назвали эту землю своей, если не по рождению, то во всяком случае, по любви.

Ялта — Париж  
Май 1994 года

## **Геофизическая версия гибели подводной лодки «Курск»**

Существует множество версий гибели в Баренцевом море двенадцатого августа двухтысячного года атомной подводной лодки «Курск», когда на глубине ста восьми метров нашли свою кончину все сто восемнадцать членов ее экипажа.

Говорят, что случился взрыв учебной торпеды, произошедший в результате то ли утечки компонентов топлива, то ли после пополнения торпеды необезжиренным воздухом высокого давления.

Некоторые видят причину катастрофы в столкновении подлодки с миной времен Второй мировой войны или же другой подводной лодкой, возможно даже иностранной.

Особняком стоит версия торпедирования «Курска» американской подводной лодкой. Кто-то даже предполагает, что в подлодку «случайно» попала противокорабельная баллистическая ракета.

Некоторые версии разрастаются до размеров гностических мифов, эксплуатирующих уникальное совпадение по времени гибели подлодки и канонизации Царской семьи.

Однако, наряду со всеми этими версиями, как признанными официально, так обсуждавшимися на кухнях и в курилках, существует и еще одна версия — геофизическая. И она также имеет право на жизнь и должна рассматриваться наряду с другими по результатам изучения обстоятельств катастрофы и анализа сейсмического и картографического материалов.

И если даже подобная версия окажется неверной, то ее изучение все же будет полезно, так как сейсмо-тектонический фактор аварийности на морском флоте никогда ранее не рассматривался.

Между тем опыт изучения «сухопутных» природно-техногенных аварий и катастроф позволяет заключить, что любое подводное или надводное судно, оказавшееся в эпицентре подводного землетрясения, даже и маломощного, не имеет ни малейшего шанса остаться на плаву.

Попробуем проанализировать тектоническую позицию места гибели АПЛ<sup>1</sup> «Курск» с учетом фактов, полученных в процессе изучения других обстоятельств происшествия.

Общеизвестно, что подводная лодка затонула в акватории Баренцева моря, в ста семидесяти пяти километрах от порта Североморск в районе юго-восточной части тектонической структуры, называемой Кольской микроплитой. Эта плита рассечена тремя крупными разломами, непосредственно на одном из которых и покоилась АПЛ с координатами 69,38° северной широты и 37,18° восточной долготы.

Данный тектонический разлом, равно как и другие, несет в себе следы современных сбросо-сдвиговых тектонических деформаций, проявляющихся на поверхности так называемого осадочного чехла.

Геоморфология Кольской микроплиты, в том числе и в месте гибели лодки, характеризуется уступами и сдвигами вдоль осей разломов, исчисляемыми, соответственно, десятками метров и километрами. Это указывает на геодинамическую и, следовательно, потенциальную сейсмическую активность плитовой структуры.

В течение мая-августа двухтысячного года в акватории северных морей наблюдалась повышенная циклоническая активность, сопровождавшаяся непрерывными штормами и циклонами. Согласно так называемым классическим представлениям, банальные смерчи и циклоны возникают будто

---

<sup>1</sup> АПЛ — атомная подводная лодка — О. В.

бы из-за неравномерного прогрева воздушных масс Солнцем, а сейсмика якобы «возбуждается» сжатием и упругой отдачей в породах.

Между тем циклоны и землетрясения имеют общий генезис — геотектонику. Другими словами, они вовлечены в процесс эволюции планеты. В этом — ключ к пониманию физики многих опасных для нас природных явлений и механизмов их воздействия на техносферу, поскольку рост объема планеты происходит изнутри, а земная кора при этом расширяется, раздвигаясь по бесчисленным разломам, разрывам, желобам, трещинам. Происходит своего рода выпучивание земной коры: расползаются континенты, всесторонне раздвигаются тектонические плиты и блоки по разломам и срединно-океаническим хребтам. Этот процесс в геофизике именуют спредингом.

Именно спрединг, этот глобальный гео-динамический фактор, а вовсе не сжатие, является тем процессом, который генерирует сейсмику. А вся атмосферная динамика: циклоны, смерчи, тайфуны, торнадо, — также обязаны в конечном счете расширению литосферы. Об этом говорят и обнаруживаемое свечение атмосферы при землетрясениях в эпицентральной зоне, возникающие воздушные вихри, гравитационные нарушения. Падение давления в недрах Земли ведет к гравитационной дивергенции: взаимному расхождению нисходящих и входящих потоков гравитации.

В то же время даже слабые гравитационные потоки из земельных недр приводят к сильной вертикальной турбулизации атмосферы над активными разломными зонами, вследствие чего и возникают упомянутые атмосферные отклонения.

Таким образом, циклоны и штормы являются однозначными индикаторами тектонического возбуждения в разных районах Мирового океана. Не случайно летом двухтысячного года на дне морей вокруг Скандинавии было зарегистрировано множество землетрясений различной мощности.

В день аварии атомной подводной лодки «Курск» сейсмическими станциями был зафиксирован толчок небывало сильной магнитуды с эпицентром в Норвегии.

Данное событие не имело непосредственного отношения к аварии, тем более, что она случилась позже — в восемнадцать тридцать. Однако, оно лишний раз указывает на тектоническую активность в тот день не только Скандинавского полуострова, но и, в первую очередь, акваторий сопредельных морей, поскольку тектонические деформации, генерирующие сейсмику, всегда распространяются в направлении море-континент.

Поэтому, если двенадцатого августа произошло землетрясение в Норвегии, то в этот же день в Балтийском, Норвежском и Баренцевом морях должно было произойти множество зачастую маломощных локальных землетрясений, не всегда даже регистрируемых береговыми сейсмостанциями.

Явным признаком тектонического обострения в районе катастрофы является начавшийся в день аварии шторм в Баренцевом море. Вполне вероятно, что лодка могла напороться на подводный сейсмический толчок.

Поскольку глубина моря здесь существенно меньше длины корпуса атомной подводной лодки, а с учетом поперечного размера лодки, запас глубины от днища составлял всего около шестидесяти пяти метров, то даже небольшой дифференциал мог привести к тому, что лодка на полном ходу ткнулась носом в морское дно.

Лежал «Курск», как известно, на глубине ста восьми метров, в то время как в нескольких километрах к югу рельеф дна понижается до ста семидесяти метров. Это указывает на то, что перед аварией лодка проходила над многометровым склоном морского дна несомненно тектонического происхождения. Позже, когда стали известны более точные координаты места гибели лодки, на тектонической карте Баренцева моря была однозначно установлена приуроченность данного геоморфологического элемента к мощному глубинному разлому.

Наше предположение заключается в том, что данный тектонический разлом Кольской микроплиты и был источником сейсмо-гравитационного удара подводного землетрясения, погубившего «Курск».

Гидроудары по корпусам подводных судов всегда провоцируют аварийные ситуации. Все они происходят в сходных геолого-географических и метеорологических условиях.

Аварии на атомной подводной лодке, как показывает статистика, не происходят во время штиля на море, поскольку тектоника в это время «не работает». Горят же подлодки, взрываются и тонут, как правило, во время штормов, и ситуация с «Курском» — возможное тому подтверждение.

В пользу сейсмической версии катастрофы на «Курске» говорит и такой факт, оставшийся невостребованным исследователями. Во время первого обследования места аварии с помощью телекамер на морском дне были обнаружены купола, которые потом исчезли и при последующих погружениях не наблюдались. Такие образования в рыхлых донных осадках явление весьма распространенное.

Например, они наблюдаются над активным разломом в Азовском море и называются «грязевыми вулканами». Песчаные купола или бугры иногда образуются во время землетрясений также и на суше с той лишь разницей, что подолгу не рассасываются. Они появляются в результате гравитационных «вздохов» глубинных разломов при землетрясениях.

Кроме того, в районе аварии имела место магнитная аномалия, также со временем исчезнувшая. Хотя документального подтверждения, в отличие от визуально зафиксированных куполов, данному факту нет, тем не менее заметим, что электрические и магнитные аномалии всегда сопутствуют сейсмике, а иногда и предворяют землетрясения.

Остается непроверенной до сих пор информация и о двух дополнительных мощных взрывах в районе «Курска», сигналы от которых были зарегистрированы американцами восемнадцатого августа. И если это не так называемые отпугивающие взрывы, устроенные военными, в то время как на «Курске» взрываться было уже нечему, то происхождение данных сотрясений загадочно.

Наверняка ситуация во многом бы прояснилась, если своевременно был бы организован сейсмический мониторинг с по-

мощью морских сейсмографов, установленных в районе подлодки после аварии.

Сегодня изучаются инструментальные записи двух сейсмических событий, полученных тремя станциями, расположенными в Норвегии и на острове Шпицберген. Одно из них было зафиксировано в одиннадцать двадцать девять, а второе произошло в одиннадцать тридцать один и в несколько сотен раз превышало мощность первого.

Достоверно установлено также, что источник сигналов находился в районе аварии лодки, в то время как природа их остается невыясненной в полной мере. Если учесть, что сигнал был зафиксирован также сейсмостанцией на Аляске в четырех тысячах с половиной километрах от эпицентра взрыва, то техногенное происхождение его весьма сомнительно, даже если предположить, что все торпеды взорвались одновременно.

К тому же сейсмический эффект взрыва должен был быть в значительной мере ослаблен прочным корпусом подлодки.

Между тем характер регистрограммы второго более мощного сейсмического события также свидетельствует скорее о природном, нежели техногенном источнике сигнала — сейсмическом толчке.

Взрыв же, судя по записи ближней сейсмостанции, произошел через двенадцать секунд, а его сигнал наложился на землетрясение и достаточно хорошо выделяется. В таком случае загадочный первичный маломощный сигнал, записанный двумя минутами ранее, может интерпретироваться как форшок или пред-землетрясение.

Заметим, что все эти выводы носят вариационный характер, поскольку основаны на изучении статичных сейсмограмм, к тому же с малой временной разверткой, что не позволяет проанализировать частотные особенности сигналов и определить их истинный источник.

Надежно интерпретировать сейсмографические данные и определить, откуда они, можно только на основе компьютерной обработки цифровой записи событий, которой мы сегодня не располагаем.

Но если наши предварительные результаты анализа сейсмограмм верны, то события перед аварией могли развиваться следующим образом.

Двенадцатого августа в одиннадцать двадцать девять, когда лодка проплывала над разломом, произошел небольшой сейсмический толчок. Через две минуты происходит толчок второй, более сильный.

Гидро-динамический удар и мини-цунами, неизбежные при сейсмо-гравитационных процессах, подбросили лодку и вызвали продольный крен корпуса, а поскольку глубина моря в этом месте была незначительной, лодка ударилась носовым отсеком на большой скорости о дно.

Спустя примерно двенадцать секунд после землетрясения от удара или иной причины произошел взрыв, но аварийная ситуация могла быть спровоцирована и первым, относительно слабым толчком.

Однако, судно могло погибнуть не только от динамического эффекта землетрясения, но и от тектонического излучения из глубины разлома, сопутствующего любому сейсмическому процессу. Ведь если землетрясение происходит ночью, то над этим местом всегда наблюдается ионизационное свечение атмосферы.

Малоизученное всепроникающее тектоническое излучение, — если судно попало в его поток, — способно инициировать воспламенение и взрыв, например, водорода с его низким порогом ионизации, которого на «Курске» было более чем достаточно.

Кроме того, на борту находилась одна торпеда с топливом на водородной основе, которое также могло легко возгореться из-за ионизационного воздействия.

Помимо прочего, неизбежным следствием воздействия плотных потоков тектонического излучения должны были быть «наводки» и сбои в маломощных системах компьютерного регулирования или даже электрическое замыкание в высоковольтных схемах лодки.

Об ионизирующем свечении атмосферы над эпицентром землетрясения и об опасности воспламенения с его помощью

## ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ГИБЕЛИ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК»

газов и паров топлива, приводящем к взрыву подводных лодок, известно давно. Сверхплотные сгустки энергии видимо способны даже «пробивать» или «прожигать» различные преграды.

В этой связи наводит также на размышление гибель линкора «Новороссийск» двадцать девятого октября пятьдесят пятого года, которая произошла в сейсмогенной Севастопольской бухте. Обстоятельства указывают на возможный геофизический фактор воздействия на судно. Сейсмический и микро-сейсмический режим Крымского полуострова в день аварии тоже мог сыграть свою роль.

Если в зоне ионизации окажутся легковоспламеняющиеся газы, пары бензина, масел, то возгорание неизбежно. Во время землетрясения в шестьдесят четвертом году в районе города Ниигата в Японии на подъездных путях нефтеочистительного завода мгновенно загорелось семьдесят цистерн с мазутом.

Можно привести ряд случаев в Ярославле, Рязани, Москве, когда даже из-за слабых тектонических проявлений происходили взрывы и возгорания на газопроводах, угольных шахтах, нефтеперегонных заводах.

К числу таковых скорее всего относятся ионизационное воспламенение топливного резервуара в Московской Капотне в августе девяносто восьмого года, а также в Самаре в марте двухтысячного года, списанные на «статическое атмосферное электричество», что уже гораздо ближе к истине нежели «диверсионные взрывы».

Несколько раз возгорались, скорее всего по той же причине, пары масел в масляной ванне завода торговой техники в городе Сасово.

Дважды, в семьдесят седьмом и восемьдесят седьмом годах, из-за вероятного тектонического возбуждения горела гостиница «Россия», расположенная непосредственно на древнем геологическом разломе, пересекающем Москву в меридианальном направлении.

По свидетельству очевидцев, перед первым пожаром, возникшим сразу в трех местах, из-за ионизации воздуха ковровые покрытия в гостинице так наэлектризовались, что из-под каблучков прохожих летели искры.

Во всех случаях возгорания произошли в одном и том же крыле здания, вероятно «сидящим» на «горячей» точке разлома.

Так могла ли подводная лодка погибнуть от каких-то там колебаний морского дна? Ответ только один: нет, не могла, но от гравитационно-динамической компоненты сейсмических процессов гибель подлодки вполне вероятно и стала неизбежной.

В то же время все наши предположения относительно возможности природно-техногенных аварий и катастроф основаны на универсальном геофизическом механизме сброса глубинной энергии и ее воздействия на техносферу.

Это воздействие разнообразно и многофакторно: тут и сейсмика, гравитационная динамика, ионизационная термальность и тому прочее.

Последнее обстоятельство, то есть ситуация, когда «работают» сразу несколько факторов, осложняет выявление причины той или иной катастрофы, а иногда это становится просто невозможным. Для установления истины в таких случаях необходимо время и нестандартные методы исследования.

Поспешные же выводы и преждевременное объявление причин тех или иных аварий всегда нежелательно. Особенно когда это касается второй по величине катастрофы с атомной подлодкой за все время существования российского военно-морского флота.

Валентина Ботева

«...Гудок. Голубые огни»

**Неотвязное**

*Есть такие вокзалы,  
Такие там есть поезда,  
Будто их пронизала,  
Сцепила лучами звезда —  
Недреманное око,  
Холодный немеркнущий свет.  
Не узнаешь до срока,  
Кто сядет на поезд, кто нет.*

*В зазеркалье окошек  
Туманом клубящийся мрак —  
На мне платье в горошек.  
Да лёгонький летний пиджак...  
До последнего марта  
Ещё не сосчитаны дни,  
А в кармане плацкарта.  
Гудок. Голубые огни.*

\* \* \*

*Всё дали — и всё отняли.  
Кончилась наша песенка  
Тёмными подворотнями,  
Чёрной чужой лесенкой.*

*И знаешь ведь — не в кошмаре,  
Проснуться — не тот случай,  
Но шаршишь в кармане, шаршишь —  
Где ж золотой ключик.*

### **Люди дождя**

А. Богдановскому

*Вы любите грозу? — нет, не в начале мая,  
А где-нибудь в конце, под занавес весны,  
Когда сплошной поток, подробности смывая,  
Несётся наобум — и улицы тесны.*

*И с треском полотна, разорванного где-то,  
Куда не заглянуть — побереги глаза! —  
Прибив ладонью пух, нам сбрасывают лето,  
И окна распахнув, мы говорим: — гроза!*

*А после тишина. Мир явлен в новом блеске,  
В промытую листву — озона благодать,  
И лёгкий ветерок кольшет занавески,  
Всё лето впереди — бери его и трать!*

\* \* \*

*Что-то смутно мне как-то,  
Что-то как-то не то...  
Не пройтись ли вдоль тракта  
В старомодном пальто?*

*Чтоб увидел проезжий  
И прохожие то ж  
В тусклом свете кортежей  
Мой седой макинтош.*

*Глубже вечности складки,  
На кармане пятно,  
Ну, а что до подкладки,  
Сразу видно — рядно.*

*Краем грязных обочин,  
Ломкий прах вороша,  
В бесприютные ночи  
Так уходит душа*

*И врезается в чью-то  
Память, чтобы во сне  
Холодком неуюта  
Пробежать по спине.*

\* \* \*

*Блаженна тварь, обретшая ночлег,  
В такую стужу тёплый угол — раем,  
Трещит мороз, поскрипывает снег,  
И полыхают звёзды над сараем.*

*Всё, как в вертёпе, только без осла,  
Да и сказать по правде, без овечки.  
Вот бабушка ведро принесла,  
И по стене метнулась тень от свечи.*

*Там, за стеной, за белою горой,  
За прутьями раkitника, за лесом —  
Верблюды и плащи. Неровный строй,  
Бесшумный шаг, и звёздный луч — отвесом.*

*А вдруг сюда? В заснеженный наш двор?  
Навряд ли. Нет. Здесь их давно забыли.  
Но отчего же помню до сих пор  
То облачко голубоватой пыли?*

*Верхи дерев, и этот свет с верхов,  
Что в форточку врывался круглым паром...  
Но в нашем детстве не было волхвов,  
А дедморозы пахли перегаром.*

### **Им — через сто лет**

*В прекрасном году тринадцатом,  
После всяких Манчжурий,  
Братцы, вам постараться б там,  
Чтоб здесь было всё в ажуре.*

*Что же молчишь, сестрица, ты?  
Надо бы постараться!  
«Четырнадцатый... четырнадцатый...»  
Вышивает на пальцах.*

### День отцветающей липы

*Липовый цвет облетает, порывами ветра  
Сносит волною его на асфальт перегретый,  
Это на наших глазах превращается в ретро  
Наше прекрасное, наше мгновенное лето.*

*Мы и об этом забудем в июльской горячке,  
Вот и июнь пробежал уже наполовину,  
Мы ж, как сомнамбулы, что не очнулись от спячки,  
Всё разминаем в ладонях небесную глину.*

*Замков воздушных продуманы стройные формы,  
Со стороны они неотличимы от прошлых,  
Впрочем, чему тут дивиться — ещё до сих пор мы  
Золото первого лета несём на подошвах.*

*И не тускнеет, сливается в плотном потоке  
Под рокотание грома и дождика всхлипы,  
И незаметно подходят последние сроки,  
Ну, а сегодня — день отцветающей липы.*

### Летняя история

*Жить в маленьком городе южном,  
Где в душной истоме ночей  
Луна с её светом жемчужным,  
Как дыня на звёздной бахче.*

*Лет двадцать пройдёт или двести,  
Отбросив случайностей ложь,  
На выскобленном палимпсесте  
Всё это же лето найдёшь.*

*Акация отбушевала,  
В каштанах сквозит рыжина,  
С собачкой идёт от причала  
Приезжая чья-то жена.*

*Жить месяц ей в городе южном  
И в лёгкой гулять чесуче,  
И встретиться как-то с недужным  
Загадочным доктором Ч.*

*Он местный, построил здесь дачку,  
И всё же столичный на вид,  
Нагнётся, погладит собачку,  
А после рассказ сочинит.*

*И как-нибудь в тёмную осень  
Муж мрачный, от ревности пьян,  
— Ну, Анна Сергеевна, — спросит, —  
И как твой курортный роман?*

*Такие вот, значит, делишки!  
Не зря с кружевами бельё! —  
И тычет то в смятую книжку,  
То в белого штица её.*

*Но можно ли даме замужней  
Терпеть эту грубость речей?  
И сядет в экспресс она южный,  
Чтоб встретиться с доктором Ч.*

\* \* \*

*Знаешь, скоро будет всё,  
Всё, как нам с тобой хотелось,  
Яблоку восковая спелость,  
В камышах прозрачный Псёл,  
На песчаном белом дне  
Весело запляшут блики,  
Будет берег, хоть и не дикий,  
Но безлюдный, как во сне.*

*Срочно думай о весне!  
Чтобы каждое мгновенье,  
Каждый мелкий лепесток  
Лёг на место в уравненье,  
Что никто решить не мог.*

*Смерть, конечно, не итог.  
Но не смеет разум робкий  
В этой жизни, в попытках,  
Вынести её за скобки.  
А ответ в пяти шагах.*

## Вербное

*Свидетелей не осталось, всё с чьих-то слов —  
Может, встречали, а может, и в одиночку,  
Был ослик неотличим от других ослов,  
А верба на Севере вдруг распушила почку,*

*Влажные пашни жадно глотают свет,  
Уже скворцы по берёзам полощут горло.  
Кто-то запомнил, будто бы смерти нет,  
Но время, конечно, много чего стёрло.*

*Щеку, сказал, подставить — и тут же меч.  
Начнёшь разбираться — понятно и непонятно,  
Ветхий пергамент хоть сохраняет речь,  
Но всё же — изломы, трещины, просто пятна.*

*Верба на Севере, пальма в Святой Земле —  
Все одинаково тянутся к синей тверди.  
Кто-то считает ангелов на игле,  
Кто-то запомнил: больше не будет смерти.*

### **Коктебель в тринадцатом году**

*Веб-камера. Ну, что там Коктебель? —  
Волошинская площадь. Двое в куртках.  
Дождь поливает. В редких промежутках  
Свинцовая, как небо, колыбель.*

*На горизонте профиль — тот, не тот? —  
Все сглажено стараниями ветра.  
Здесь ничего от belle роде и ретро,  
Тринадцатый благословенный год,  
Дагерротипом явленный нечетко,  
Для нас уже древней, чем Древний Рим,  
Не то, чтобы совсем не представим,  
Но странен, как шарманка и пролётка.*

*Там горизонт завален, ну и пусть,  
Важнее то, что ждёт за горизонтом.  
А время дышит не Эвксинским Понтом,  
И камешки похрустывают — грусть  
Дана нам в ощущениях и прочем —  
В дагерротипах, списке кораблей,  
Прочитанном до середины в ночи  
Такие же, быть может. Не жалея  
О прошлом.*

*Ливень перешёл в капель.  
Давай закроем этот Коктебель.*

### Музыка на воде

*День, говорю, твой скоро сойдёт на нет,  
Дыркой от бублика станут твои хлеба,  
Что отпуская по водам. Гляди и м вслед  
И убеждайся — это твоя судьба.*

*Общая, ибо в целом неразделим  
Мутный поток — не вынырнуть, не войти.  
Свете небесный, где ж Иерусалим?  
И не надейся, он не в конце пути.*

*Ибо конца не будет. А будет свет,  
Преображённый, тот же эм-сэ-квадрат.  
День, говорю, твой скоро сойдёт на нет,  
Как ни крутись — не повернуть назад.*

*Но не вини себя в этих пустых хлебах,  
Ты ведь и сам такой же — никто, ничей.  
Музыка на воде... Но не Гендель — Бах,  
А разобратъся, даже не он, — ручей.*

\* \* \*

*Что нам зима? — мороз, прелестный друг,  
Лошадки бег, заснеженные земли,  
Пленительный помещичий досуг,  
Где топят печь, а милый друг всё дремлет,  
И валенками весело скрипят  
Дворовые — то в погреб, то в сусеки,  
И горничная вносит chocolat,  
И грезится о новом человеке.*

*Вот жучка лает, спущена с цепи,  
А ты всё дремлешь, друг прелестный... Сти.*

### Предрождественское

*Снег, как страница белая — без помарок,  
Будто исполнилось время всего святого,  
Вот и сенат рождественский шлёт подарок  
Бедным сироткам — всё к Рождеству готово.*

*В этих снегах не замараешь тоги,  
Цезарь велик, отважны легионеры,  
И приращение дня нам даёт в итоге  
Смягчение нравов и приращенье веры*

*В то, что Империя вечна — вот цирк, вот булки,  
Риторы разъясняют права и цели,  
Цезарь с народом встретился на прогулке  
И согласился впредь запретить лицаи,  
Ибо вокс попули (так и сказали в свите)  
Требует равенства всех поголовно. Ждите.*

**Картинка с трубачом**

*Я говорю тебе — прощай,  
Ты говоришь мне — до свиданья.  
И труб приглушенных рыданье,  
И цепкость тёмного плюща,  
И холод сумрачного неба,  
Где тот, невидимый, трубач...  
Громокипящий кубок Геба  
Ещё не пролила — не плачь.*

*Не плачь, дождям ещё не время,  
И горечь не слетит, как струн.  
Трубач вставляет ногу в стремя,  
Ни рук не чувствуя, ни губ  
Своих, он замер в ожиданье,  
И плющ вцепился в край плаща.  
Ты говоришь мне — до свиданья,  
И мне в ответ — «прощай».*

*Мы по одной идём тропинке,  
Не зная года и числа...  
Да, я о старой той картинке,  
Что ты из мусора спасла.*

\* \* \*

*Кто живёт простодушно,  
Тот и будет счастливым  
В этих замках воздушных,  
В тех белесых оливах,  
Что, как стадо баранов,  
Гонит с юга низовый  
По иссохшим лиманам,  
По степному Азову.*

*Обойдёт тебя горе —  
Что ни день, то к прибытку,  
Если утром на море  
Отворяешь калитку.  
Ни тоски, ни тревоги —  
Здесь, над светлой водою,  
Есть лишь древние Боги  
Да вино молодое.*

*Помнишь ночь полнолуния,  
Диск кровавого цвета,  
В том последнем июне,  
В то последнее лето?  
Трепет тополя вещей —  
Дрогнул каждым листочком! —  
Время складывать вещи,  
Нет — бросать оболочку,  
Оставляя, как одежду,  
И по лунной дорожке —  
Между морем и между  
Звёздной млечностью в плоске.*

*Если б заново выбор,  
Я бы снова такую...  
Жил у моря — и выбыл.  
А кукушка кукует.*

### На закате

*Когда в облака въехали  
Те, с золотыми копьями,  
Наши дожди помехали —  
Небесными скачут топями,  
Розовыми разливами,  
Лазоревыми провалами.  
Были б и мы счастливыми,  
Если б не были малыми.*

*Кто ногу вставляет в стремя,  
А кто идёт в рукопашную.  
Какое странное время —  
Пустое, весёлое, страшное.*

\* \* \*

*Когда мы пройдем,  
А то, что пройдем, это точно,  
Под летним дождем,  
Под блюз трубы водосточной,  
Под шелест и стук,  
Под всплески и дребезг, и лепет —  
В край вечных разлук,  
В страну, где никто нас не встретит.  
Когда мы пройдем,  
Останется всё, как было —  
Дожди, чернозём,  
Лилового неба чернила —  
И там, уже в нём,  
Увидим сквозь туч занавески:  
«Когда мы пройдем»  
Написано почерком детским.*

Ольга Тиховская

## **Берегиня с улицы Киевской**

*Направо пойдешь — в детский сад попадешь. Налево — в Союз писателей. Надо только перебраться на другой берег — на четную сторону улицы Киевской. Ни троллейбусов тут, ни толпы, ни милиционеров. Иди себе не спеша, как переходят вброд неширокую речушку, а потом сворачивай то ли налево, то ли направо. А нам — на нашем нечетном берегу — ни к чему были ни детсадовские качели с песочницами, ни дом этот писательский.*

*На тихой Киевской у нас был свой мир и свой дом. Особняк, переживший румынскую оккупацию и Великую Отечественную войну. Ворота и — на века забор каменной кладки, защищавший двор от любопытства неторопливых прохожих. Там, как за крепостной стеной, фруктовые деревья, виноград, розы. А в дальнем конце, у сараев, еще огородик-пяточок, где зеленела кукурузная рощица и поспевали помидоры — гордость домовитой соседки.*

### **Восьмидесятые. Кишинев. Улица Киевская, 141.**

И пока стоял этот дом, пока хлопали ворота, скрипел гравий под ногами и звенел колокольчик, привязанный у кухонного окна, — летела, неслась моя одноразовая юность, обреченная на скорую переплавку во взрослую жизнь. Новую жизнь, где не будет уже ни волшебного двора за крепостной стеной, ни мастерской художницы Валентины Оксен в подвальном этаже старого особняка, ни тихой Киевской...

Очередной девятый вал исторической истерии сметал таблички с названиями наших улиц, мемориальные доски, памятники.

«Киевская» превратилась в улицу «31 августа 1989 года». Наш город — в пространство, наэлектризованное националистической вакханалией.

Вместе с Народным фронтом Молдовы лидеры Союза писателей немало потрудились над образом врага, возглавив борьбу против «русских оккупантов» и против ... молдавского языка. Эти вдохновенные занятия принесли многообещающие плоды, — государственный закон об отмене молдавского кириллического алфавита и анонимный шедевр из трех слов: «Чсмодан — вокзал — Россия!»

На смену музам явились призраки рабской свободы. Был варварски уничтожен барельеф писателя Анри Барбюса. В наскоро переименованном бывшем Пушкинском парке ожидал решения своей участи памятник Пушкину, установленный в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году на частные пожертвования кишиневцев.

*Издревле сладостный союз  
Поэтов меж собой связует:  
Они жрецы единых муз;  
Единый пламень их волнует;  
Друг другу чужды по судьбе,  
Они родня по вдохновенью...*

Символом этого родства, пушкинской цитатой стояли монументы в Аллее классиков молдавской литературы. Дмитрий Кантемир, Николай Милеску-Спафарий, Константин Негруци, Георге Асаки, Ион Крянгэ... Какую невидимую границу охраняли эти *бронзовые солдаты*? В какую даль неведомую смотрели, в то время как их наследники по гусиному перу крушили творческие и политические союзы?

Наследники, одержимые бесами национализма. Вырубленные топором написанные предками заветы — вековые традиции молдавско-славянского культурного содружества. Наследники, вместившие всю историю своего народа в

политическую листовку с призывом громить, разделять и властвовать.

«*Единый пламень их волнует...*» Пламень междоусобицы. Вечный огонь у могилы брата твоего Авеля.

В доме по бывшей улице Киевской художник и дизайнер Валентина Ивановна Оксен не торопилась собирать чемодан. И не спешила оторваться от Кишинева. Человек не пуговица. Не — плохо пришитая пуговица...

Должно быть, крепкими были нити, соединившие Валентину Оксен с нашим родным городом — на какое-то время, на каком-то отрезке жизненного пути. В Кишиневе, где профессиональные дизайнеры были наперечет, выпускница Харьковского художественно-промышленного института отработывала три года «по распределению», что было обязательно для молодых специалистов, получивших бесплатное высшее образование.

Пролетели обязательные три года. Потом еще три, потом еще... Кто удерживал ее в Кишиневе? Не призрак же ссыльного Пушкина. Благоприятные условия для профессиональной реализации? Но уже начиналась необъявленная гражданская война. Уже шла сортировка людей на «оккупантов» и «коренных», на «румын, потомков древних римлян» и «молдаванманкуртов».

Сегодня, с дистанции немалой, я понимаю, что Валентину Оксен удерживали обязательства несоизмеримые с обстоятельствами того смутного времени. Обязательства духовно богатого человека, наделенного талантом дарения. Чтобы выполнить личную творческую миссию, недостаточно было стать краткосрочной постоянной жительницей Кишинева ни по распределению, ни по определению.

С ее приездом население более чем полумиллионного города увеличилось на одного человека. Для статистики — всего на одну единицу.

Несуетное подвижничество этой *единицы* не зафиксировано в официальных летописях культурной жизни Кишинева. Это не удивляет. Немало достойных имен исчезло, немало по-

явилось пробелов в коллективной памяти творческой Молдовы после создания Молдовы независимой.

Сегодня в Союзе дизайнеров не найти документов семинара «Дизайн и дети». Не найти материалов творческих дискуссий, докладов, презентаций. От уникального форума, проходившего весной восемьдесят девятого года, осталось несколько рекламных плакатов.

Этот семинар — детище Валентины Оксен и ее коллег-единомышленников — собрал в Кишиневе цвет дизайнерского и художественно-педагогического сообщества всего Союза.

За стенами конференц-зала — молдавская столица в политической лихорадке. Новое варварство, с националистическими лозунгами наперевес, отвоевывает себе место под солнцем. А здесь — дизайнеры, искусствоведы, художники, педагоги обсуждают философские и практические вопросы воспитания гармоничного человека — гражданина XXI столетия!

Культурный и гуманистический потенциал этого профессионального сообщества не будет реализован. Первый семинар «Дизайн и дети» станет последним — *всесоюзным*. В свежерасчлененном пространстве бывшей советской державы образование и воспитание творческой личности окажутся на периферии общественных интересов. Правители новых независимых государств начнут не с творчества. Начнут от противного.

Вы против тоталитаризма? — Да! Вы против коммунизма? — Да! Вы против? — Да!

Вы об этом мечтали? — *«Да» и «нет» не говорите, черное с белым не носите. Вы поедете на бал?*

Обстоятельства времени и места были едины для всех. Образ действия и маршрут каждому свой. Лес рубят, щепки летят. Летят, летят... Кто на бал, кто на вокзал. Кто — на митинг или погром.

Недуги разной природы — националистический зуд и чеходанное настроение передавались не только воздушно-капельным путем.

Боевые самолеты военно-воздушных сил Молдовы бомбили... территорию Молдовы. И шли бронетранспортеры по до-

рогам среди мирных южных садов, среди щедрых на урожай полей. И вели огонь крупнокалиберные пулеметы, минометы, гранатометы по приднестровским селениям, по городу Бендеры.

Убитые, раненые, пропавшие без вести, беженцы — все это было, было всего в полутора часах езды от Кишинева, от нашего мирного дворика с розочками за каменным забором.

Развязав гражданскую войну в Приднестровье, верховные власти независимой Молдовы не спешили признавать свои ошибки, не собирались отвечать за свои преступления. *Urbi et orbi* — городу и миру — они возвещали о мерах по урегулированию «временного вооруженного конфликта».

*Ложь заволакивает мозг  
Тягучей дрёмой хлороформа,  
И зыбкой полуправды форма  
Течёт и лепится, как воск...*

Читали-перечитывали Макса Волошина в этом доме по бывшей улице Киевской. Читали и собирались в дорогу.

За крепостной стеной все еще цвели розы. Тихими были светлые летние вечера во дворе, у старого виноградника.

И звенел колокольчик по каждому из нас...

...Эти вечера не уходят из памяти. Уходят люди, и юные их лица смотрят на тебя с черно-белых фотографий.

Вот магнитофонная лента с едва различимым, негромким голосом Валентины Оксен. Вот россыпь листочков с моими поспешными записями вослед беседам, растянувшимся на несколько вечеров и не поместившимся на одну-единственную кассету. Вдогонку голосу — карандашные мои каракули. Вряд ли я понимала в полной мере все, что записывала тогда. Но именно так сохранились — будто подаренные мне *на вырост* — эти вечера на улице Киевской.

Понадобилось немало лет, чтобы стать ровень. Сегодня надоба сложить воедино и прочесть послание из чемоданных смутных времен.

Послание от художницы-ведуньи, сумевшей поверх злобы дня разглядеть дорогу к истокам вечного *Добра*.

— Украинские вышивки, рушники... Для меня это — история моего края, моей жизни. Наследство, которое было утрачено и заново складывается по крупичкам, по ниточке. Его нужно сберечь и понять как язык, как песню, как душу человеческую...

Все началось в семьдесят четвертом году. Полтавская область, десять-двенадцать километров от Сорочинцев и Миргорода. Здесь когда-то проходил Чумацкий шлях. Село Ходки, у реки Хорол. Бывшая дача Короленко. После первого курса института мы приехали сюда на летнюю практику по живописи, рисунку, композиции. Делали по двадцать пять этюдов в день.

Холм у села охро-серебристого цвета. Небо необычное — глубокое и высокое. Горизонт четко читается за счет золотой границы холмов. Зелени, практически, нет. Покинутый хутор. Старый яблоневый сад. Вишни на кладбище.

Однажды утром, накануне праздника Ивана Купалы, мы вышли на этюды. Между золотыми холмами — туман. На Украине очень высокое небо, и, среди холмов, все слышно так чисто, ясно. Издалека доносилось пение. Женский голос. Еще вдруг мычание коровы — где-то должна быть хата. Потом звуки: ведро опускали в колодец.

Я пошла на голос и увидела женщину у колодца. Длинная, сухощавая, она набирала воду и напевала песню. Такую песню я слышала впервые. Подошла, поприветствовала и попросила воды. Женщина сказала: «Если будете возвращаться, заходите. Мне будет веселее».

Она жила в хате, окруженной брошенными домами. Все они опустели после выселения и раскулачивания. Места разоренные... Такая горесть охватывала! Просто солнце в заточении. Это было невозможно видеть. Стоит хата, обычная хата — входи и живи, а *человека* нет. После уничтожения хозяев, после раскулачивания никто другой не поселялся в этих оставленных домах.

Когда мы вернулись с этюдов, зашли в хату. На лавке стояла макитра. Женщина готовилась ставить в печь тесто: пекла булки.

А я смотрела на вышитые рушники над образами. «Вижу, тебе это интересно», — сказала хозяйка и подарила мне рубашку с рушником. Ей было девяносто восемь лет, и часть вышитых вещей осталась от матери.

Рассматривать вышивки — это как читать, как слушать пение. Символ, цвет, орнамент — не просто все вдруг сложилось. И эти вышитые вещи не существуют отдельно: они в истории семьи и дома. Рушник вешается на образа. Вся верхняя часть дома в рушниках. Самый лучший рушник — на образ. И глава семьи садился под ним. Это как бы начало всего рода. В хате были сени, светлица, другие комнаты. В светлице собирались женщины: здесь пряли, вышивали, пели. Но глава дома сидел под образами, лицом к двери, чтобы встречать каждого гостя.

Дом предстает как часть мироздания. Птица на вышивке — хранительница домашнего очага. И понимание этого мира, какие-то важные основы остались в вышивках, на рубашках и рушниках. В них Человек, как живая единица культуры, отражение пейзажа.

На обычном рушнике бывает почти одинаковое количество красного и черного. Но на свадебных рушниках и на свадебных рубашках преобладает красный. Рукав, плечо — украшено все. Еще были рушники с кружевами. Рушник может быть усеян мелким рисунком, как мерность течения жизни. Может быть и праздничным как итог чего-то.

А вот крестик — «хитрый» символ. Сплетение нитей не только крест. Геометрический рисунок в западной и восточной культуре — это как бы шифр, сверх-информация, в которой кодировалось важное духовное начало. В сельских храмах, на некоторых иконах, я видела такой же геометрический орнамент, как на рушниках.

Мир человека, жизнь человека отражает и растительный орнамент, очень пластичный, с крупным рисунком. Раскрытый цветок на рубашках, особенно на плече и предплечье. На свадебном рушнике обязательно присутствуют две пересеченные ветки. Иногда сверху еще один элемент — птица. Это символическое изображение. Не петух, а птица-хранительница очага, условно петух, но ближе к символу — расписная птица.

Орнамент как символическое стилизованное изображение растений, животных отражал и мужское и женское начало. Насколько женщина была естественна, не стеснена — настолько это ее чувство выливалось в тот же рушник, ту же рубашку. Хотя были, конечно, свои устои, быт, но, тем не менее, она была не скована как женщина. У нее была своя определенная функция. Каждый был на своем месте. И семья жила вместе: на этой общности людей и природы все держалось.

Если человек нарушит какой-то глубинный закон — не уберет урожай, — значит, зимой ему просто нечего будет есть. Поленится что-то сделать — грозит голодом. Человек зависел от природы, а природа отдала все человеку.

Не было у славян в укладе семьи, чтобы друг друга истязали. Если человек ценил свое, он ценил и чужое. Если ты жене обидишь, у тебя не будет здоровых детей. Ведь не было повального пьянства на Украине. Если человек связан с землей, если он хозяин — он же не может так пить!

Человек каждое дерево трогал руками... Не случайно в старинных вышивках везде непременно растительный орнамент, плюс животные, птицы, плюс какие-то пересечения, сочетания того и другого. Об изображении человека никто и не думал, так как человек себя воспринимал иначе: в сочетании со всем живым.

Земля и солнце — черное и красное. Спрашивала я об этом у многих. Именно так объясняют простые люди и даже не задумываются — это для них настолько естественно.

Земля и солнце то, что нас кормит и поит. Человек поклонялся земле и открывался солнцу. Жесты поклона — связь с землей.

В украинской культуре красный цвет — женское начало, мягкость, певучесть. А в других культурах красный цвет истолковывается как жестокость.

Я делала этюды в разные времена года и поняла одну особенность. Если найти истоки черного именно в земле как начала, покоя, и красного как солнца, начала жизни, — то они во всех орнаментах почти равны. Черное обычно внизу. Чер-

ное — основа, из которой все растет. А стебель красный — по нему текут соки.

Мне кажется, что белое в вышивке — это условно белое, потому что когда человек выходил на улицу, его встречало небо. И женщина в своих вышитых вещах как бы носила на себе всю среду, которая вокруг.

Спрашивала у той почти столетней хозяйки в Ходках, а не скучно ли ей жить одной. Она отвечала: «Как же скучно? Я с птицами, животными».

Вот экологическое сознание — оно всегда было у народа. Его просто не надо было выбивать, потому что те люди, которые на земле и не злы по натуре, — они открыты всему, абсолютно естественно принимают все.

Безмерность, открытость славянской души — отражение местности, плоскости, открытых степей, где они живут. На Украине ни одно село в долине не встретишь. На вершин холма расположены деревни. Это особенность славянского поселения. И человек, который выбирает для жилья себе верх, вершину чего-то, — у него вообще другой тип мышления.

На Украине так много неба! Звездные и глубокие вечера. Предвечерье... Как открытая книга — пейзаж. И люди такие же открытые: никто не пропустил нас, студентов-художников, без того, чтобы «пригостить». И слова простые. Они как бы из земли вынуты как картошка, как огурец, что сорван с грядки. Они даже пахнут, эти слова, именно той средой, в которой человек находится, они привязаны к ней, отражают ее цветистость, яркость, пышность, тишину, ощущение полноты.

Нет суеты — вот что меня всегда подкупало в этих людях. У них совершенно другой ритм. До сих пор помню тот женский голос в тумане — будто сказка. В песнях украинских так много плавности, широты: речка течет, солнце «стекает», голоса текут.

Потом я записала у той женщины много песен. Она шутила: «Видите, сколько дорожек ведут в наши Ходки — у нас невесты были очень красивые!»

Песни отражали жизнь, которая не всегда была веселая. Песни протяжные, отчасти грустные, созвучные пейзажу и местности, характеру людей.

*... Ой, не била ж мене мати,  
Самі сльози льються.  
Від милого людей нема,  
Від нелюба шлються.  
Прийди ж, милий, спаси ж мене  
Від лютої напасті.  
За нелюбом коли буду,  
То маю пропасти...*

Это очень длинная песня, много в ней куплетов.

*Ізродила ж мене мати  
В зеленому житі,  
Дала ж мені гірку долю.  
Ой, як же мені жити?  
Ізродила ж мене мати  
В зелену неділю,  
Дала ж мені гірку долю.  
Ой, де ж я її діну?*

Пели на вечорницах украинские песни, вышивали, и в вышивке отражалось настроение. Рушник, вышитый девушкой, вешали на забор. И парень мог по рушнику выбрать девушку — на вечорницах.

Но чтобы жениться, парень должен был проявить себя. Ведь нет среди стариков никого, кто бы не танцевал. Видела я в селах такое не раз. Вот заиграла музыка, просто гармошка и барабан, — а старики и старухи не сидят на месте! Они танцуют, потому что учились этому с детства. Они все — хорошие рассказчики, все пели. И эти традиции из поколения в поколение передавались.

Песенная культура, изобразительная культура — это тот комплекс искусств, о котором мы сейчас говорим и к которому идем. Люди пели, танцевали, работали, занимались всеми искусствами: кто как мог. Если более талантливая семья была — значит, выделялась.

И такая среда помогала ребенку развиваться, концентрироваться. Особенность подчеркивалась. Об этом писали Тарас Шевченко, Леся Украинка: о разных проявлениях личности. Если ты не смог станцевать, пропеть, поддержать песню — тебя же засмеют. И эта среда толкала на проявление своих особенностей. Человек *про-являлся*. Более способный, с хорошими данными — он все равно занимал какое-то видное положение. Не случайно говорили: «*Відна дівка, гарна дівка*». Это не только о красоте внешней. Человек мог проявиться всесторонне — и по силе, и по ловкости, и по красоте.

Человек знал, что если он будет эгоистом, когда он захочет строить дом, к нему никто не придет помогать. Один вспахать тоже не сможет. Значит, коллективом жили, но это коллектив совсем другого уровня. Как это можно было унижить другого человека? Конечно, здесь достоинство было.

К этому миру мы сегодня можем прикоснуться только через литературу.

А если проследить, проанализировать песни, вышивки, даже утварь, например, из одного дома, — как бы видишь всю семью, особенность этой маленькой клеточки, ячейки. Утварь, деревянные работы, постройка, лошади — мужское начало. Было четкое разделение женской и мужской линии, и все это потом отражалось в характере, во взаимоотношениях.

*Тече струмочок,  
Чиста водиця,  
Куди ти йдеш...  
...Кому кохання, кому розлуку,  
Мені ж нічого не даєш.  
Білу сорочку вишию шовком,  
В чисту водицю кину їй.  
Пливи, сорочко, де ходить милий  
Скажи, що я його люблю.*

В песнях отражен крестьянский быт — он обобщен, как в сказке, и выступает как символ.

*Пливе човен, води повен,  
Та все хлюп-хлюп, та все хлюп-хлюп.  
Іде козак до дівчини,  
Ніженьками туп-туп, ніженьками туп-туп...*

Вся жизнь человека — круглый год — как бы зафиксирована в песне. А через песню — раз человек пел и работал — открытая, естественная связь с природой.

Хотя крестьянский быт был очень сложен, в песнях и в орнаментах отражение гармоничной духовной жизни народа.

Эта гармония и в старинном рукоделии. Можно сделать портрет женщины, глядя на ее вышивку. Можно почувствовать, понять суть человека, богатство натуры. Вышивка — женское начало. И даже при крестиковом решении — везде очень мягкие очертания. А черное — мужское — резкое. Красное, в основном, окружность. Красный цвет как бы стягивает все пространство. Черный — рассекает.

На женщине все держалось, все отношения внутри семьи, воспитание детей, еда. В жизни своей мужчины как бы шли за женщиной, потому что женщина — это *все* в доме. Образ мужчины — сила. Мужчины обычно резкие, молчаливые. Они сами в себе — как закрытый дом. Женщина как открытый дом и окна нараспашку.

Все женщины, с которыми мы встречались в украинских селах, всегда употребляли слово «хозяин». Они не говорили «человек», но именно «хозяин». Он мог присутствовать, не присутствовать, но обед в доме не начинался без мужчины, хозяина.

Женщина не принимала ни одно решение на семейном совете: она как бы «отзвучивала», озвучивала то, что скажут мужчины. Женская линия и мужская линия дополняли друг друга — как вышивки и утварь.

Мужчина идет фоном. Казачья работа: сеять, сажать в огороде, в поле. У мужчины был совсем другой труд, другие обязанности. Он совсем иначе воспринимал себя. Мальчика, сына, когда первые жнива, брали на уборку урожая с мужчинами. Ему как бы отдавали свой инструмент и он уже счи-

тался взрослым. Ребенок через отца, через мать был связан с этим миром. И потому так строго соблюдались взаимосвязи в семье.

Но постепенно в другой эпохе мужское начало исчезало. Мужчина уже не играл той роли, которую он играл в семье, семейственности, в начале семьи, в роде.

По ходу времени заметно разрушение вышивки — разрушается структура информации, меняются цвета. Разрушение бытности, семьи как начала общества. Мужчина начисто исчезает из среды. Мужское начало, практически, ушло.

И по вышивкам на рушниках, рубашках тоже можно проследить эту закономерность распада.

Тяжкий труд не облагородил женщину, он ее огрубил, размал. Мир, в котором вышивка была частью быта и частью духовной традиции, — исчез. Это все потеряно. Для девочек сейчас вышивание только на уроках труда в школе.

Но совсем другое дело в доме, когда сидит твоя бабка и вышивает, показывает тебе, или ты при матери это делаешь. Тогда в том, как ты вышиваешь, отразится особенность семьи, твоего очага. В каждой вещи — энергия, биополе. Это та среда, которая по наследству тебе передается, тот волшебный шарик, который нужно передать из рук в руки. То есть в тебе — уже особенность рода, особенность родины, *батьківщини*.

Интересное украинское слово «дружина» — невеста. Оно есть и в «Слове о полку Игореве», его использует Рерих — «другиня».

Когда приглашали на свадьбу, невеста ходила по селу со своими двумя подружками — приглашения по почте не посылали! Она должна была посмотреть на человека, поклониться. С утра до вечера невеста ходила и приглашала к себе на свадьбу: *«Просили батько, просила мати, прошу і я — приходьте до нас на весілля»*. Слова очень простые. У нас сейчас ни одно приглашение так не звучит. В этой народной традиции — какой клан, какая семейственность, отражение себя!

Деньги ни на одной свадьбе не швырялись. Подарок готовился именно для этой пары, специально для этой новой семьи.

Еще в украинских свадебных обычаях очень большое значение имел колокольчик: лошади украшались колокольчиками.

*Сам коник сивенький, а грива біла.  
Сподобалась мені, сподобалась мені  
Дівчина мила.  
Не так та дівчина, як її личенько.  
Подай же, дівчино, подай же, гарная,  
На коня рученьку.  
Дівчина підійшла, рученьку подала.  
Ой, краще б я була, ой краще б я була,  
Кохання не знала.  
Кохання, кохання, з вечора до рання.  
Як сонечко зійде, кохання відійде.*

Это я записала в Харьковской области. Там рушники более пластичные, рисунки сложнее.

А вот рельефный рисунок на рубашке — принадлежность Полтавской области, где сохранилась память о перевозданном многобожии. Поклонялись природе, поэтому во многих вышивках отголосок язычества. Полтавская область именно этим и отличается: богатство самой природы, колорит золотистый, много неба.

Можно по песням проследить мотив, мелодию и сравнить, с чем песня связана, соотнести с одеждой, с самим рисунком, с цветом.

Для невесты красное и белое — свадебные цвета. Невестина сорочка вышивалась по плечу до кокетки, декорировалась пышно. И каждый элемент костюма символичен. Бусы — намысто — много нитей, от основания шеи вниз. Венок, бусы — замыкание, округлость, связь разных частей. Это символически важный элемент. Начало и конец, соединенье всего.

Неспроста женщина наряжалась, как букет, отражала изобилие. Она была, как земля, как воплощение своей земли. Цветок, букет, плодородие — это женское начало. Украинская женская одежда яркая, пышная. Женщина просто как цве-

ток — она украшалась. И вот песни венчальные так и называются: прощание и украшение невесты. Сами термины забываются, но они идут исконно от земли.

Украина — это венок. Вся земля — как венок. И в нем все: цветы, ленты, бусы. А женщина в свадебном наряде — олицетворение собственной земли.

Свой наряд, свои вещи, утварь женщина могла передать только своим детям. Если ты не сохранишь, что ты передашь своим потомкам?

А наши отцы ничего нам не оставили. Я поняла это, когда была в Германии. Там увидела, как сохраняется и передается память о жизни твоей семьи. Одно поколение прожило и оставило другому, следующее уже на ступеньку выше. У нас же все с нуля. Каждое поколение приходит — ноль! И бьемся об одном и том же.

Исчезло то, что держало уклад славянской, украинской семьи, — род, *батьківщина*. Когда началась коллективизация — как мог человек отдать то, что веками создавала его семья? Взять и снять последнюю сорочку? К этому обобществлению если идти, то естественным путем.

И еще *такое* понятие коллективизации, общежития исковеркало сознание нескольких поколений: не свое и не чужое, не бережешь и не отдаешь. Это — ничье. И жизнь — не твоя. И не живешь сам. Это клетка, тюрьма.

Сейчас суета везде. И на территории Украины. Те, кто сегодня сносят памятники, — люди без почвы.

Если нет гармонии, сбивается все, разрушается. Разорвана связь, а ведь было все едино.

...В подвальном этаже старого особняка на бывшей улице Киевской слушали песни Александра Галича. Укладывали, вроде бы, невеликий багаж. Рабочие материалы, эскизы, рукописи, книги, рушники.

Вычитание единицы из общего числа жителей нашего города было статистически неприметным. Вычитались уже не десятки, не сотни — тысячи единиц. Забавная аббревиатура «ПМЖ» звучала все чаще: «Уезжаем на ПМЖ...» Мы уезжа-

ем — вы уезжаете — они... В Россию, Израиль, Америку, Германию, Канаду. На постоянное место жительства. На постой. На жизнь. На веки вечные.

Про день и час отъезда Валентины Оксен знали немногие. И никто не мог предвидеть — «какая нам разлука предстоит».

А если бы, если бы... Сколько рук взметнулось бы в прощальном салюте — там, на перроне кишиневского вокзала! Сколько сопричастных пришли бы пожелать счастливого пути... Врачи и медсестрички, для которых создавалась новая коллекция профессиональной одежды. Художники, модельеры, архитекторы, конструкторы, инженеры, изобретатели — товарищи, со-трудники, соавторы. Журналисты, барды, поэты, актеры, педагоги, студенты, друзья, заказчики, подопечные. Дети из кружков и студий, научившиеся видеть и творить красоту благодаря художнице Валентине Оксен.

Благо-даря...

Так чем же отдарить несуетную душу, чем «пригостить» труженицу и невольную странницу после ее кишиневской вахты...

Взмах распахнутой ладони — однокрылый привет. Просьба освободить вагоны...

*Когда я вернусь...*

*Ты не смейся, когда я вернусь...*

В тот дом на бывшей улице Киевской никто из нас не вернется. Сохранив часть фасада, новые владельцы выстроили огромное здание современного банка, едва вместившееся в пределы старого двора, накрывшее стеклянной пирамидой весь участок.

Но есть другой дом. И другой сад на юге Испании, в Гренаде. Там названия улиц не меняются вот уже который век. Там отгорела своя гражданская война: летели свои щепки и братья убивали братьев. Там до сих пор не найдено последнее пристанище расстрелянного фашистами Федерико Гарсиа Лорки. Нет могилы поэта — есть его родительский дом в саду Святого Винсента. Здесь все сохранилось так, будто се-

мья вот-вот соберется вместе, в столовой, за обеденным столом, покрытым вышитой скатертью.

Красное и черное, узоры, стежки-крестики. И такой знакомый орнамент. Скатерть, расшитая испанской доньей. И такой знакомый вид из окна. Розы в саду. Виноградная лоза.

Этого не может быть... Это было. Старый особняк на улице Киевской. Стол, и на нем рушник, вышитый украинской крестьянкой. За окном розы и виноград, огородик-пяточок.

В опустевшей мастерской, на книжной полке — тоненький сборник стихов. Черная обложка, золотые буквы: «Федерико Гарсиа Лорка. Избранное».

Не влез в чемодан...

Александр Немировский

«...Закат, отражённый от белого камня»

Юг Франции

*А хочешь устриц, белого вина?  
Как поздним утром в городке  
Коллюре?  
Где ветки  
Яблонь прямо из окна.  
И препинанья платья по фигуре?  
Как мы стояли, за руки держась.  
Не щекотали памятью заботы.  
А под ногами был песок. Не грязь  
Иль слякоть подмосковного болота.  
Как в нотах  
Нашей встречи плыл простор.  
Как, не справляясь с солнечной картинкой,  
Бессильно щёлкал камеры затвор.  
И смех дрожал у глаза паутиной.  
Коллюр Матиса в обрамленье Пабло.  
Где башни римлян —  
Сторожа времён.  
Тобой и ими  
Вместе полонён.  
Спаси мя, Господи, чтоб память не ослабла.*

## Маме

*Я никак не пойму – это время бежит или встало?  
Это я тебя помню, иль я в твоей памяти жив?  
Или времени нет?  
То есть нет ни конца, ни начала.  
Просто солнечный свет  
Над твоею щекою дрожит.*

*Что лежит  
Впереди –  
Видно чётко на будущем плане.  
Что уже обожгло – навсегда отложилось в груди.  
Если времени нет,  
То не нужно молиться.  
А в Храме  
Можно просто любить  
И испытывать радость любви.*

*Не бродить  
От решенья к решению  
И дальше, к ошибке.  
Не бывает ошибок, когда сочетается дух.  
Я никак не пойму – это я умоляю прощения,  
Иль мне всё простилось?  
А я, остающийся, глух?*

*О, родная моя, наше золото блещет,  
Как прежде.  
И смеются глаза,  
А в ушах не умолкнул слова.  
Они плещут  
Во мне. Набегая, катясь и трепеща.  
Ты на все времена  
На меня заявляешь права.*

### Ботаника

*Калифорния — как ботанический сад.  
Весь двор похож на отряд,  
Набранный из разных широт.  
Тут растёт алыча из вяза, а в рот  
Попадает яблоко. Птицы клюют черешню.  
Наоборот  
В январе плодоносит вдруг апельсин.  
И конечно,  
Из известных лесин —  
Красное дерево, эвкалипты, сосны.  
Но нет осин.  
Лиственниц и остального, что не выносит солнца.*

*Но я прижился. Одеревенение  
Происходит почти органически. Ему сопутствуют  
Редкие приступы вдохновения,  
Но больше помогает его отсутствие.*

*Только деревья, чуть примиряют со временем.  
Для секвойи — тысяча лет обычное дело.  
Многие много старше.  
А мы кратко живущие, как умеем,  
Набиваем свежую память строчками на бумагу.  
А иногда раскрашиваем  
И так потом оставляем.  
Внаглую.  
Потому что не можем жить в рамках предела.*

*Да здесь прорастает всё. Лишь бы была вода.  
Так человеку удастся какая-нибудь карьера,  
Едва найдётся работодатель труда,  
Тогда всё равно, что делать  
— долбить ли стену карьера,  
Или мелом  
Писать на доске, повернувшись спиной к классу.  
Года  
Собираются в плотную массу  
И сливаются в конце концов просто в один.  
Существуя, плодонося  
В этой древесной толпе,  
Медленно распускаясь цветком седин,  
Иногда хочется мерзнуть в краю осин,  
Или бежать по тайге уже ни о чем не прося.*

### **В тени камней**

*В памяти горит свет.  
Закат, отражённый от белого камня.  
Холмы. Их линия медленно сходит на «нет»  
У горизонта. Город, натянутый на подрамник  
Времени. История, резонирующая прямо в кровь.  
Да я уже бывал здесь и господином и смердом.  
Я частица этих склонённых голов,  
Что под открытым небом  
Строят берега добра  
Размером и ритмом  
Своей молитвы.  
Паломники. Кошки. Детвора.  
Пустынных улиц стоптанные плиты.  
Я снова здесь, как раньше, и не так.  
Хозяин, заскочивший в гости. Просто  
Придавлен памятью. В ней старьёй лапсердак  
Никак  
Не подгоняется по росту.  
Я к плёсу  
Площади у Западной стены  
Вдруг выброшен без всякого нажима.  
Я, не рожденный сын моей страны —  
Иерусалима.*

*Теперь ведом невидимым лучом  
Сквозь трещины за каменную кладку.  
Туда, где был и не был я ещё,  
К началу, что в сухом остатке,  
Не изменилось.  
Можно, возвратясь,  
Найти свой камень, чтобы прислонясь,  
Почувствовать себя среди народа,  
Когда сквозь арку незаложенных ворот,  
Взгляд видит четко сущность небосвода,  
Как связь времен, а не наоборот.*

*Как блоки стен надеты на линейку  
Лежат века. Но их не охватчу.  
Я город пробегаю по лучу.  
За башни, переулком, по ступенькам.  
Я здесь молился, жил.  
Теперь молчу.*

### Осенние стансы

*Тебе хочется, чтобы я измерил температуру снега?  
Он же весь почернел. Его опять лихорадит.  
Я перепрыгиваю сугроб с разбега.  
И вот снова там. В моём Ленинграде.  
Тут тяжелое небо и большая влажность.  
Так что я в лыжной шапочке. Чтоб не холодно голове.  
Поворачиваю за чей-то угол. Чей – неважно.  
Перекресток.  
Мокрый, противный снег. Я уже в Москве.*

*Это набросок.  
Начало или продолжение поздней осени.  
Деревянные доски,  
Проложенные прямо по слякоти  
Моей проседи.  
А я иду  
По дороге к дому, где ты читаешь книгу.  
Тут какая-то куча – выброшенная на слом.  
Эту ткань бытия мы несём  
За обрывки каникул.  
То ли это тёплое море,  
А то ли друзья за большим столом.*

*Все образцы памяти  
На показ приходящим детям.  
Своим ли, чужим ли? — уже без разницы.  
Как заплаты на мантии,  
Они прочнее того, что через неё светится.  
А в общем-то, всё равно нечем хвастаться.*

*Я любил многих.  
А они отвечали мне чем попало.  
Занимался всякой науко-логией,  
Чтобы прочно казалось стоять ногами.  
И почти привык начинать сначала.  
Но что-то меня всё-таки доконало.*

*Я теперь брюзжу и пью в одиночку  
И обгладываю кости истории — куда она могла  
повернуть,*

*Если бы не ходила по кругу,  
Похожему на толстую точку.  
Как бы я хотел сам себя из него пнуть.*

*Но если вычесть из мерзкой погоды желание спать,  
То останутся только дела, что нельзя отложить.  
Это, видимо, и называется «жить»,  
А так хочется, чтобы дважды два было пять.*

### Письмо в 1987

*Мы же с тобой друг к другу ногами повернуты.  
Да и головами в разные стороны к небу торчим.  
Между нами шарик. И шарик весьма твёрдый.  
А ещё между нами порознь проходящая жизнь.*

*Я научился просчитывать, когда ты спишь или работаешь,  
Чтобы вклиниться телефонным звонком между.  
Я знаю, когда там у вас холодно, моя хорошая,  
Или, когда жара, а солнце в глаза режет.*

*Прошлое  
Нам опять не поставить к стенке,  
Да и в театре теней это не принято.  
Я всё так же не пью молоко с пенкой.  
А ты, наверное, куришь...*

*Вынуты  
Из друг друга событий,  
Мы трясемся, каждый в своем трамвае.  
Три копейки билет. И нити  
Рельсов нас разводят в разные стороны,  
Моя дорогая.*

*Так по шарик, безразличному к движению  
Мы перемещаемся, а на самом деле стоим на месте.  
С точки зрения вечности наше с тобой продолжение  
Не имеет смысла. Как и доходящие вести  
О между собой незнакомых детях.*

*Сколько их у тебя, — если  
Не ошибаюсь, — двое?  
Впрочем, это неважно. Переменится ветер,  
И эта мысль о тебе оставит меня в покое.*

## Кронос

*Л. Губанову*

*И жизнь моя станет ещё на год покороче.  
И борода моя станет больше седой, чем рыжей.  
И я ещё меньше буду понимать поколение моей дочери.  
И ещё больше забывать то, из которого вышел.*

*Но всё также, никому не известны, гниют мои строчки.  
Но все также летит, вращаясь, вокруг солнца шарик.  
И не больно совсем заменяется день ночью.  
И не слышно, как время рукой в памяти шарит.*

*Я рентую у Бога для жизни пространство и время,  
Чтобы выплатить позже, созревшей душою, сполна и зараз.  
Чтобы чьи-то губы перебирали кости моих песнопений,  
Надувая звуковой волной памяти парус.*

*Чтобы тот потянул, и незнакомый кораблик двинулся,  
Подминая под себя молчания, солёные волны.  
Наплевать, что я давно родился и уже выдохся.  
И ещё пока держу курс. И держу ровно.*

**Миттельшпиль**

*Калифорния. Вечер.  
Огоньки самолётов, запряжённые цугом,  
Медленно пашут ночное небо.  
Кречет  
Встаёт на крыло над лугом.  
Закат поджигает запад,  
И горит над горами гребень.  
Память мне кружит голову  
Твоим голосом.  
Запахи наступающей ночи назначают свидание.  
Но полис  
Выбран. Полностью и не поровну.  
И долги опять перевешивают желание.  
Так, что ещё один день застревает в патоке,  
Вычитая тебя из моего времени.  
Обрезая его и делая совсем кратким,  
Как остатки в банке из-под варенья...*

*А помнишь, я построил город с домами и парками?  
И обнёс его прочной стеною от глупых недругов?  
И поселил тебя во дворце? Как ярко  
Светило солнце, и пели птицы в кроне кедров!*

*Я построил город с магазинами и бульварами.  
Там было много уютных кафе на кривых улочках.  
Куда мы заходили и пили чай из самовара,  
А иногда кофе и, как водится, с булочкой.  
И лучше  
Не было тогда места на целом свете.  
Осталось это почтовой карточкой в моём виске.  
Я построил город. И верил, что мы в него переедем,  
Когда вдруг оказалось, что он стоит на песке.  
Когда вдруг оказалось, что посреди повседневности  
Мы почти потерялись, и теперь реви — не реви.  
Ты выкармливаешь тело своей ревности,  
И оно шарахается от тени моей любви.*

*А жизнь расчерчена на перекрёстки  
Между твоей работой и моим бытом.  
И я старым шутком на подмостках  
Пытаюсь тебя рассмешить избитым,  
Заезженным поперёк и вдоль сюжетом  
Про счастье. Но лишь вызываю недоумение.  
Как будто грязь на моих манжетах  
Ставит слова и роль под твоё сомнение.*

*Прости за эти угловатые, длинные строчки.  
А хочешь, то и бумагу порви.  
Я построил город для нашего одиночества  
На простом песчанике твоей любви.*

**Аляскинские стансы**

*Количество воды, нас разъединяющей,  
Уже не измерить в литрах или бассейнах.  
Живущий здесь, и постепенно  
Тающий  
Лёд, постоянно  
Добавляет погрешность  
К любому числу. А рассеянный,  
Мягкий свет —  
Память о красках юга,  
Сводит почти на «нет»  
Каждую малость градуса, отсчитывая от Полярного круга.*

*Здесь корчма  
У дороги носит название «гранд-отель»,  
Но хозяин-повар не вызывает стряпнёй восторг,  
Как и почва,  
Не прощает босой ноги,  
Предпочитая ботинок, или лучше сапог.  
И где злая метель  
Просто отошла временно,  
И стоит, смотрит, сжав кулаки  
Высоких гор,  
Покрытых материалом, из которого изготавливают забвение.*

*Здесь, из нор  
Вьлезающий по весне, всякий зверь  
Торопится размножаться,  
Не зная —  
Что есть «любовь»?  
И не понимая,  
Почему я теперь  
Грущу  
О тебе, оставленной в других широтах.  
Отсюда всё, что ни сообщу,  
Покрывается коркой льда.  
Отчего тебе становится холодно в коротких шортах,  
А слова просто добавляются к расстоянию в никуда.*

### Памятник

*А какая разница  
Как будет выглядеть мой памятник,  
Если к нему никто не придёт?  
Я всю жизнь не кланялся.  
Не покупался на пряник —  
Надеялся — кто-нибудь да найдёт.  
Кто-нибудь  
Перечтёт ещё не остывшие строки  
И они уколуют печалью.  
И зачнутся, пойдут расти мысли  
Корнями свои соки,  
Возвращая душе.  
Мир безразличен.  
И это первоначально.  
Поэтому, сработанное из камня,  
Недолговечнее написанного в карандаше.  
И только сроки  
Жизни секвойи  
Больше, чем период смерти развалин Рима.  
Посадите мне памятник.  
И просто поливайте его водою.  
И не надо слёз. Я и так любимый.*

Геннадий Николаев

## Тендряков на Байкале

В конце мая шестьдесят пятого года утренним рейсом Тендряков прилетел в Иркутск. Легко, упруго сбежал с трапа — плащ расстегнут, берет лихо сдвинут набекрень, в зубах мундштук с сигаретой, не терпит закурить. Крепко пожал руку и, торопясь, резковато сказал:

— С твоей женой знаком давно, на «ты», значит, и тебя — тоже. А ты — как хочешь, можешь на «ты». Ну, поехали?

Мы поехали по «президентскому» маршруту. Губернский, провинциальный Иркутск выглядел в этот утренний час странно: вроде бы почищен, подкрашен, но — лишь фасады, а чуть вбок, вглубь — ветхость, унылость, первобытная грязь. Домишки кое-где обиты по фасадам свежими планками, покрашены почему-то желтой краской, другой, видно, в городе не нашлось. Особенно жалки древние крашенные заборы — пьяными покосившимися шеренгами тянулись слева и справа, прикрывая нищету и убогость дворов.

Зоркий глаз Тендрякова, конечно же, засекает «маскарад».

— В честь чего? — спросил он, с каким-то жалобным прищуром разглядывая город.

— Ждали вас и президента Эйзенхауэра! — шутливо отпартовал я.

— Вы прилетели, а Эйзенхауэр все еще задерживается, — добавила Инна. Владимир Федорович промычал что-то невнятное и вдруг расхохотался. Я впервые услышал, как он смеется. Это был особенный смех — звонкий, рыдающий,

взлетающий фальцетом, так смеяться мог только очень здоровый и душевно чистый человек.

Через девятнадцать лет, в Пахре, сидя за печально опустевшим столом, Наташа вспомнит тот день, когда „Володька“ впервые появился у них в доме и озадачил Наташиных родителей своим непосредственным смехом, а маленький Саша, брат Наташи, ныне известный ученый-психолог, уже тогда проявляя способности к психологии, объяснил смущенным родителям: «Вы ничего не понимаете, только хороший может так смеяться!»

— Эйзенхауэр и Иркутск? — удивился Тендряков. — Какая связь?

Мы пересказали ходившую по городу легенду: дед Эйзенхауэра был концессионером, скупал пушнину Сибири и Якутии, умер тут, на берегу Байкала, и похоронен в Листвянке, у Свято-Никольской церкви. Говорят, на его могиле есть чугунная плита с надписью по-английски. Вот Эйзенхауэр и хочет навестить могилу предка.

Ну, местные власти, естественно, в шоке: таких высочайших заморских гостей давненько не было в заштатном Иркутске, потому и заборы покрасили, и дорогу до Листвянки заасфальтировали бешеными темпами, и «охотничий» домик на берегу Байкала срубили, и вообще почистились с казенным провинциальным размахом, как в той байке про невесту, которая вымыла шею...

Тендряков хохотал.

— Значит, империалисты помогают! Хотя в этом от них польза. И уже серьезно, задумчиво:

— Наверное, мы недооцениваем взаимное влияние наших систем друг на друга...

Потом не раз приходилось мне наблюдать эти резкие переходы — от каких-то банальных, вроде бы пустых разговоров к неожиданно глубоким, значительным прорывам его мысли.

Тендрякова интересовало все, но особенно — Байкал. Его командировка от «Правды» имела целью знакомство с проблемами Байкала.

Увы, порадовать его мы не могли. Строительство Байкальского целлюлозного комбината в истоке реки Солзан, несмот-

ря на развернувшуюся в нашей и мировой печати полемику, входило в завершающий этап.

Ученые, публицисты, писатели яростно наступали. Проектировщики обиженно огрызались, доказывая безвредность стоков, демонстративно на трибунах пили воду, взятую из производственного цикла. Им не верили, освистывали. Дискуссия продолжалась, а строители под шумок продолжали свое.

Истинной бедой для Байкала стала переброска армады военных строителей Средмаша с его лагерями и мощной техникой, освободившейся после возведения ангарского атомно-нефтяного комплекса.

Нас, инженеров, эта типичная для нашей страны ситуация глубоко возмущала. Байкал для нас в то время был еще и своеобразным оселком, на котором проверялись люди: если ты против строительства, значит, молодец, прогрессист, если же «за» или ни то ни се, значит, ретроград, предатель, вообще плохой человек.

Помню, Владимир Федорович очень внимательно выслушал наши гневные речи и сочувственно сказал:

— Да, с Байкалом дело плохо... Парадоксы «нашего общего». Чиновники запускают в госмашину непродуманное решение, машина набирает ход, остановить ее не может никто, даже генсек, если бы он захотел.

— А вы думаете, он не хочет? — Тендряков вздохнул, покачал головой:

— Может быть, и хочет, но бессилён, он в системе, должен играть по ее правилам, иначе — вышвырнут! Помните, «Новый Завет», что говорил Апостол Павел: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы».

— Значит, бесполезно трепыхаться, Байкал обречен?!

— Вы можете остановить вращающийся маховик турбины? — сердито спросил он. — Враз, мгновенно? Нет! Значит, нужны годы! Годы...

В отличие от нас, местных, Тендряков видел байкальскую проблему не оторванно, а в более глубинных и широких связях со многими процессами, происходившими в стране. Создавалось впечатление, что тот или иной конкретный факт су-

ществовал для него не сам по себе, а в связи с какой-то концепцией, о которой мы могли лишь гадать.

Появление Тендрякова в Иркутске стало целой вехой в литературной жизни города. К нему потянулись, понесли рукописи, книги, пошли с разговорами. Со свойственным ему чутьем он быстро сориентировался и в книгах, и в рукописях, и в людях.

И буквально в первые же дни открыл нам — да и не только нам! — прекрасного прозаика Дмитрия Сергеева. Его военные рассказы по рекомендации Тендрякова прочел Твардовский, хотел напечатать все, но удалось только один; позднее Твардовским же была напечатана в «Новом мире» повесть «Залито асфальтом».

В те годы собирались по малейшему поводу, а уж по такому начался целый хоровод домашних застолий. Разговоры шли, конечно, о литературе, об очерках Валентина Овечкина, которого Тендряков любил, о повести Василия Белова «Привычное дело»; о проблемах деревни, о Сибири, о строительстве на Байкале, о стране в целом.

Помню, как меня поразили безоглядная смелость, жар, страсть, с которыми говорил тогда Владимир Федорович. В нем жили как бы два человека одновременно: суровый судья культа личности и гуманный защитник народа-страдальца. Хотя и «народу» доставалось за рабство и долготерпение.

На одной из посиделок кто-то привел высказывание Монтескье: «Каждый народ достоин своей участи». Ох, как разъярился Тендряков! Впервые я увидел его в гневе и, прямо скажем, не позавидовал повторившему, впрочем без всякого злого умысла, высокомерное высказывание французского философа.

Чуть успокоившись, Тендряков принялся обвинять уже самого Монтескье: тут и пренебрежение к судьбе народа, и утверждение, что народ — быдло, и неверие в творческие силы «простого» человека, и возведение народа в тупого исполнителя воли сильных мира сего. Бедный Монтескье! Признаться, мне уже стало жаль француза, настолько ничтожным и посрамленным он выглядел теперь.

К счастью, Тендряков был отходчив и уже через минуту хохотал и над Монтестье, и над собственной бурной реакцией. Однако его взрывчатая, безоглядно-резкая реакция на все вызывала во мне некоторую настороженность. Поэтому понятен тот трепет, с которым я дал ему на суд свои первые рассказы.

Отчетливо помню разговор в гостиничном номере в ночь на тридцатое мая. Верный себе, Тендряков с ходу пошел на таран:

— Ты — парень славный, но ты — ортодокс. Веришь всему, что говорят по радио.

Это я-то ортодокс?! Я, инженер-физик, атомщик! Работаю на гигантском заводе, вступил в партию, пишу прозу, защищаю Байкал и — ортодокс?! От обиды я потерял было способность воспринимать то, о чем толковал Владимир Федорович. А он, хотя и видел, что задел за живое, продолжал без всякого снисхождения забивать свои жесткие гвозди.

Ортодокс — потому что не думаешь. Вступил в партию, когда самое время выходить. А для того, чтобы стать писателем, мало некоего туманно-расплывчатого желания «отобразить жизнь» — надо знать, во имя чего писать, к чему звать, за что бороться! Кисельно-розовых, чувствительных описаний в мире более чем достаточно, разжалобить читателя, вызвать слезы умиления — невелика задача.

Заставить думать, почему человек живет так, а не иначе, зацепить за живое, показать зло и добро в жестокой борьбе, как это бывает в жизни, — вот, грубо говоря, задача-минимум. Минимум! А максимум? О максимуме с тобой говорить еще рановато...

«Рановато?!» Тут уж я возмутился и в запале наговорил ему резкостей, кстати, и о путанице с народом, которого он «защищал» от Монтестье.

Он изумленно вскинул брови, смешно открыл рот и расхохотался — такой поворот ему был больше по душе. Порывался уйти, но он обнял меня, усадил и с необычайной горячностью стал рассказывать о том, чем занят последнее время, что мучает, заставляет перепахивать книги Маркса,

Компанеллы, Гэлбрейта — искать ответы на «проклятые» вопросы.

Именно в эти годы он с головой ушел в проблемы собственности, наемного труда, самоуправляющихся трудовых ячеек.

Приезжая в Москву, я стал бывать у него в Пахре, и он мне читал — вариант за вариантом — свою новую публицистику: «Личность и коммунизм», «Социальное колесо будущего», «Метаморфозы собственности»...

Тогда в номере мы проговорили далеко за полночь. Для меня это были часы откровений. Сразу столько о нашей системе, о бедах и язвах ее и их истоках я услышал впервые. И досадовал на себя: почему сам не додумался, это же очевидно! В ту ночь мне не удалось заснуть...

Нет, не сразу стал мне близок и дорог Тендряков. Понимал, что его резкость и смелость идут от его внутренней свободы, воспитанной им в себе, развитой из природных задатков, и тем не менее...

Многие годы я проработал в закрытой системе, и это приучило меня к постоянной оглядке — не сболтнуть бы чего лишнего! А он поражал. Если при нем кто-то нес околесицу, он тут же, не мудрствуя лукаво, и называл это околесицей. Правда, мог тут же обнять обиженного и безмятежно расхохотаться от удовольствия, что пресек глупость на корню.

А это он любил делать, ох, как любил! Возможно, и моя настороженность в первое время была связана с одним из таких эпизодов — глупости из наших уст вырываются куда чаще, чем мудрые мысли.

Так или иначе, помню, что какое-то время, особенно до нашего ночного разговора, я чувствовал себя с ним очень скованно, в основном слушал. Не знаю, сумел бы я преодолеть свою скованность до конца, если бы не та неожиданная, счастливая, чудесная и незабываемая поездка вместе с Владимиром Федоровичем — сначала в Улан-Удэ, потом вдоль восточного побережья Байкала до Усть-Баргузина и дальше — по Байкалу, с многочисленными остановками, интереснейшими встречами, взаимными откровениями...

Выбор Улан-Удэ был не случаен: там жил друг Тендрякова по Литературному институту бурятский поэт Цыден-Жап Жимбиев, автор многих книг стихов и прозы, в частности, романа «Год огненной змеи», переведенного на русский Тендряковым и Натальей Асмоловой-Тендряковой.

В Бурятском Союзе писателей приготовили большую насыщенную программу: посещение передовых предприятий и колхозов, встречи с ударниками и интеллигенцией, поездка к раскольникам, видимо, с целью антирелигиозной пропаганды, авторский вечер в театре.

Собирались придать ему «почетный эскорт», как это водится у нас на периферии, из инструктора обкома, корреспондента газеты, кого-нибудь из Союза писателей.

Владимир Федорович категорически отказался и от эскорта, и от парадных поездок, и от встреч в обкоме и горкоме. Не захотел он заниматься и антирелигиозной пропагандой — с раскольниками можно было встретиться просто на улице. Из всего, что было предложено, выбрал посещение буддийского монастыря под Улан-Удэ и поездку на Байкал.

После долгих уговоров согласился выступить по телевидению, правда, редактор студии, горячо уговаривавший его выступить, в последний момент струсил и с такой же горячностью стал упрашивать говорить помягче, не так остро, как обычно привык Тендряков. Передача шла прямо в эфир.

Владимир Федорович рассердился, вспылил, вообще отказался выступать и двинулся было к выходу. Все, кто был рядом, буквально вцепились в него, принялись защищать бедного редактора, ведь у того жена, дети! Просили проявить гуманность!

Тендряков вначале опешил, потом расхохотался. «Жена! Дети!» — повторял он, смеясь до слез. И — выступил. Говорил сдержанно — о герое в жизни и в литературе, поругал несколько именитых авторов за ходульность их героев, выразил свое кредо — писать правду, как бы горька она ни была. Редактор был счастлив — пронесло!

Буддийский монастырь, дацан, располагался примерно в тридцати километрах юго-западнее Улан-Удэ, на обширной равнине в отрогах Хамар-Дабана. Мы приехали во второй половине дня, погода стояла великолепная, солнечная. Ровная степь цвела, колыхалась буйно растущими травами — до самых синих гор на горизонте. Откуда-то доносился тихий мелодичный перезвон.

Нас встретил дежурный лама, сухощавый молчаливый человек. Одет он был в длиннополый цветастый халат, на ногах — мягкие кожаные сапоги с загнутыми кверху носами, на голове — острая, как шлем, шапка с белым верхом и ярко-малиновыми высокими бортами.

Поздоровавшись со всеми за руку, не выделяя ни гостя из Москвы, ни местных своих соплеменников, держась с большим достоинством, он повел нас по территории монастыря, делая па ходу скупые пояснения. Лежащая на земле темная отшлифованная доска в рост человека — для сотворения молитвы. На ней молятся лежа, головой к Тибету.

Были люди, которые с этой доски, вставая и ложась, то есть непрерывно творя молитву, уходили через степи, пустыни, леса и горы в Тибет. Кое-кто доходил до самого Далай-Ламы, но большинство погибало в пути.

Наш проводник показывает на невысокое сооружение, напоминающее стойку с навесом, под которым на оси насажены какие-то колеса и барабанчики — это хурдэ, молитвенные колеса. Каждый оборот самого маленького колеса — сто молитв, самого большого — миллион.

Мы незаметно переглядываемся, гасим улыбки, дескать, и здесь механизация... Повеял ветерок, и мы снова слышим мелодичный перезвон. Этот звон, пояснил наш провожатый, издают листочки, висящие по краям многоярусной крыши храма, — в непогоду звон слышен далеко...

И сам Храм, и библиотека в обычном крестьянском доме, и общежития, где живут ламы, — все это производит впечатление. «Ваша душа очистится, если вы познаете Истину», — гласит одна из премудростей буддизма. Никто не возражает, это действительно так.

Чай мы пьем под открытым небом, за низеньким столом, накрытым скромной скатертью. Главный лама дацана сейчас в Москве на конгрессе Совета сторонников мира, потом поедет в Хельсинки, и потому нас потчует его важный заместитель. Едим хочуры — что-то вроде пирожков, начиненных очень жирным мясом и зеленым луком. Пьем зеленый терпкий чай с молоком, сахар — вприкуску. Женщин в монастыре нет, подаст угощение толстый лысый монах с равнодушным лицом.

— Кто может стать ламой? — спрашиваем мы.

— Кто верит в учение Будды и встал на путь постижения Истины. Не убивать, не воровать, не лгать, не пить, не курить, не иметь женщину. Смирить гордыню, не помышлять ни о чем, кроме познания Истины.

— Молодежь бывает в дацане?

— Мало, очень мало.

— Значит, перспективы у дацана не очень веселые...

— Пока есть лекторы-атеисты, будет и дацан, — вдруг шутит хозяин, с вызовом поглядывая на Тендрякова. Тендряков смеется, он согласен с хозяином.

— Простым людям понятнее Будда, — продолжает хозяин. — Человек получает надежду на блаженство в другой жизни.

— А может ли лама по-своему толковать учение Будды? Может ли развить дальше какие-то положения буддизма? — спрашивает Тендряков. Старик согласно кивает, но говорит совсем обратное:

— Учение содержит всю истину, постичь ее — задача верующего. Думать, что человек может подняться выше, — опасный грех. Такому человеку не место в дацане.

Наконец, мы откланиваемся и выходим на волю.

...Красота Байкала открывалась Тендрякову постепенно. Впервые он увидел Байкал поздно вечером, когда дорога вывела нашу «Волгу» к берегу между поселками Гремячинск и Турка.

Шел мелкий дождь, Байкал был в тумане. Вяло пошумливал прибойный накат, темным сплошняком стоял за дорогой лес. Среди валунов и прибрежной гальки смутно белели вы-

ветренные бревна и корни, весьма причудливые, — вот они-то прежде всего и привлекли внимание Тендрякова.

Он пошел от коряги к коряге, внимательно разглядывая каждую, словно раздумывал, не взять ли с собой. Потом подошел к воде, зачерпнул ладонями и ахнул: до чего прозрачна и холодна оказалась байкальская водица!

Уже более основательная встреча произошла на другой день в рыбацком поселке Максимиха, где мы провели целые сутки. Красивая уютная бухта, добротные дома, сложенные из лиственницы, приветливые спокойные люди и теплая солнечная погода — все это оставило впечатление поистине райского уголка. Недаром вездесущие киношники именно здесь снимали комедию «Приезжайте на Байкал». Конечно, были разговоры, были песни под гитару у ночного костра, но никакие киношники, никакие разговоры не могли надолго отвлечь Тендрякова от Байкала.

Воздух был столь чист, что водная даль и очертания берегов, уходящих к северу и к югу, были какими-то пронзительно отчетливыми, а голубизна неба и прозрачность моря, плавно колыхавшегося у песчаного берега, — особой, только Байкалу присущей чистоты.

Тендряков долго стоял на берегу, потом — в лодке, на баркасе, и я видел, как он хватается за голову и шепчет что-то и снова глядит вдаль осоловелым взглядом, открыв рот. «Эх, Наташку бы сюда! — мечтательно сказал он уже на берегу. — Знаешь, в народе говорят, будто на последних месяцах важно, что видит вокруг себя будущая мать. А тут такое...»

«Эх, Наташку бы сюда!» — оценка красоты по высочайшему баллу. Это я понял позднее, в Москве, когда познакомился с Наташей...

Ну, разумеется, были в тот вечер и «замет», метание невода, и рыбацкая тройная уха на костру, и песни под гитару, и разговоры «про кино», но самое главное — встреча и знакомство с замечательным человеком, учителем, охотником и писателем Михаилом Ильичом Жигитовым. Знакомство это перейдет потом в дружбу, и на долгие двадцать лет протянется между подмосковной Пахрой и Максимихой незримый канал теплоты и полной взаимности.

Ночевали мы у Жигжитова в горнице все пятеро: Тендряков, Цыден-Жап Жимбиев, Николай Дамдинов, шофер Иван Демьянович и я — вповалку на шкурах, под головой сено, прикрытое простынями. Спали крепко, без сновидений — уснули далеко за полночь, поднял нас строгий хозяин в пять утра.

За завтраком Тендряков продолжил прерванный ночной разговор об охоте, медведях, их повадках и «интеллекте». Помню, меня поразила та уважительность, с которой Михаил Ильич рассказывал про медведей. А знал он их не понаслышке: сорок девятый чуть не задрал его, хорошо, выручил пес-медвежатник Тамбор, почуявший беду с хозяином и прибежавший из дому к месту схватки.

Почти восемнадцать лет прожила в Пахре Тайга, дочь Тамбора, подаренная Тендрякову Жигжитовым, — собака поразительного ума, доброты и преданности. А сорок девятый оставил отметины на лице и глубокие шрамы на спине. После сорок девятого, чуть не ставшего роковым, Михаил Ильич добыл еще четырех и на этом, как потом писал Тендрякову, поставил точку. Из добытчика превратился в защитника. Переход этот, думаю, произошел не без влияния Тендрякова.

Дальнейший наш путь, уже по морю, начался из Усть-Баргузина на катере с дизельным мотором. Лихая команда «после вчерашнего» не торопилась на пирс, и пока мы маялись в ожидании, стали подходить люди — рыбаки, охотники, просто жители поселка.

Молва разнесла, что прибыл московский писатель от «Правды» и сам за правду — вот потек народец с разговорами. Жаловались на непорядки с ловлей рыбы: план спускают «от достигнутого», рыба не успевает расти за планом, заставляют применять сети с уменьшенной ячейей, вот и вычерпывают молодежь и недоростки. Головоотяпство! Почему не думают о будущем? Лишь бы сегодня, нынешнему начальнику отрапортовать, а завтра — хоть трава не расти! Почему «заморозили» строительство рыбоперерабатывающего завода? Почему в магазинах побережья никаких продуктов, одна водка да бормотуха? Это

что, вредительство такое, народ спаивают? Почему хороших книжек не достать? Газет нет... Почему... почему... почему...

Эти «почему» давно допекали и самого Тендрякова: почему если «мое, иное», — так и старание, и выдумка, и взгляд в завтрашний день, и прибыль, а как только «наше, общее» — так и преступное безразличие, и работа абы как, лишь бы отвязались, и многие наши беды — экономические и человеческие: пьянство, воровство, бескультурье, одичание...

Почему?! Тендряков отвечал сдержанно: сам ищет, не все ясно, пустой болтовней не хочет заниматься, вот пусть-ка грамотеи напишут ему в Москву, а он над их письмом подумает, потом и ответит. На том и порешили. Да и пора было выходить море. Тендряков не мог уже спокойно стоять — в море, в море!

Как ни торопились, а выйти удалось только к вечеру — долго раскачивались наши мореходы, потом оказалось, что нет соллярки, и мы ждали, пока подвезут, потом пришло время обеда, потом перекур с дремотой — кое-как завелся движок, в солярке оказалась вода и так далее и тому прочее.

Тендряков махнул рукой, и команда вскоре уже более уверенно держала штурвал в своих руках, да и разговор явно оживился, несмотря на изрядную качку.

Опять говорили о Байкале, о рыбе омуле, о том, что рыба мельчает, что прошлогодние осенние шторма растрепали буксир с сигарами, и сплавной лес разнесло по всему Байкалу — «вред такой, никаких сил нет с ним бороться, от одних топляков — беда, плывешь как среди мин, особо лодкам опасно...»

В августе семьдесят второго года именно на подобный топляк налетела и перевернулась моторка, на которой шли Александр Вампилов и Глеб Пакулов. Вампилов не доплыл до берега всего несколько метров, не выдержало сердце. Пакулова спас школьник из Листвянки, заметивший беду и подплывший к нему на весельной лодке.

Горькие разговоры эти мы сдабривали рыбой, которую по очереди приносили с бака из железной бочки, где она просаливалась в рассоле и никогда не переводилась.

...Проснулся я рано утром. Движок тархтел во всю мощь, катер дрожал мелкой дрожью, дзенькала алюминиевая кружка на цепочке у бака с водой, было тепло, душно. В задраенный иллюминатор плескалась забортная вода — значит, все в порядке, плывем, вот только куда? Тендрякова среди спящих не оказалось.

Полез по ступенькам в рулевую рубку. Первым делом увидел, естественно, пол и на нем — двух приткнувшихся по углам спящих морских волков. Между ними, за штурвалом, широко, по-матросски расставив ноги, стоял Тендряков. За стеклом рубки был... сплошной непроницаемый туман — белый и плотный, как дым или облака, какими мы видим их с самолета. Раньше я думал, что подобные туманы — плод фантазии.

Тендряков предостерегающе погрозил мне, дескать, не мешай — весь внимание, весь «вперед! полный вперед!». Я все же не выдержал, спросил:

— И куда плывем?

— Не плывем, а идем, — поправил он и засмеялся. — А черт его знает! Куда-нибудь придем, кругом земля.

Морячки наши рассчитывали на везение, и везение не подвело. Вскоре взошло солнце — косматое багровое пятно справа по борту, туман начал рассеиваться, и не прошло и часа, как над нами открылось голубое небо. Байкал был удивительно тих и спокоен.

Кроме созерцания красот у нас были две практические цели: побывать в Чивыркуйском заливе у дедушки Николая и зайти в поселок Давше, поговорить о делах и проблемах Баргузинского заповедника. Кажется, именно за этим и послалала Владимира Федоровича «Правда».

В Чивыркуйский залив мы вошли под вечер, проблесковый маяк на вершине мыса Верхнее Изголовье уже помигивал ярким огоньком. Стоял полный штиль. Солнце било нам снова в правую щеку — мы входили в залив с севера, падало на острые зубцы скалистых возвышений полуострова Святой Нос.

Тендрякова охватило нетерпение — успеть до захода солнца взглянуть на окрестности с высоты холма, торчавшего на оконечности мыса Катунь, к которому мы приближались.

Едва катер ткнулся носом в прибрежный песок, Тендряков спрыгнул на берег и кинулся на холм. Я — за ним, готова на бегу фотоаппарат. Холм, издали казавшийся пологим, на деле оказался и крутым и высоким, и мы карабкались довольно долго. На безлесой вершине Тендряков остановился, переводя дух, раскинул руки, словно хотел охватить весь открывшийся перед ним простор.

Солнце уже касалось зазубрин, вот-вот скроется, минута — и все. Моря не было видно, заслоняли горы полуострова, но вся западная сторона светилась, излучала отраженный Байкалом закатный свет.

Яркий блеск заходящего солнца и мягкое сияние над зубцами Святого Носа жили как бы сами по себе, не смешиваясь, разграниченные тончайшими прослойками белесоватых нитей, состоящих из каких-то взблесков, бликов, отсветов, мерцаний, почти неосвязаемо дрожавших в воздухе.

Но вот солнце накололось на острые вершины, отделявшие нас от Байкала, сплющилось и слепящим желтком утекло за хребет. И тотчас пади и ущелья по нашу сторону обозначились черными щетинами.

Сияние из-за зубцов вознеслось, в небесах заиграли нежные розоватые сполохи, свет от моря померк, нити исчезли, и контуры Святого Носа почернели, мрачно придвинулись к нам.

Изменился и восточный берег: первая, самая низкая волнистая гряда потемнела, затянулась дымкой, стала пепельно-сизой; вторая, идущая следом за ней более пологими волнами, контурно выделилась, наполнилась голубоватым дымом, воспарила над первой, а третья — далекая, поднебесная, но отчетливо видимая, еще освещенная солнцем, была четко пропечатана разноцветными пятнами: бледно-розовыми — снега, голубыми — пади и расщелины, синеватыми с прозеленью — альпийские луга и темно-зелеными — леса.

И такая кругом была вольница, такая ощущалась в душе легкость, что хотелось распластать воображаемые крылья, оттолкнуться от земли и полететь.

— Эх, Наташку бы сюда! — прошептал Тендряков, и голос его сорвался.

Я молчал. Миг этот глубоко взволновал меня, остался в памяти на всю жизнь.

— Вот это я бы нарисовал! — сказал он после долгого молчания. — Знаешь, бросил живопись не потому, что рука покалечена, с рукой справился бы, тут другое. Страдаю от нетерпения. Чувствую, вижу глубже, чем могу передать на холсте, — неожиданно признался он. — Но желание рисовать есть, все еще живет во мне. Хотя понимаю, что тут Бог мне недодал...

В трюме катера на скорую руку я записал то, о чем говорил Тендряков на вершине холма. Художник должен учиться у природы, ее бесконечному терпению, ее умению удивлять, творить все новые и новые формы.

И еще — исключительности! Ведь каждый миг неповторим, значит, исключителен! Природа — идеальный формалист. Именно форма вызывает чувства. И чтобы воздействовать на читателя, на зрителя, художник должен преувеличивать, искать в типичном исключительное. Да в искусстве типичное — это и есть исключительное! Достоверность факта, разумеется, важна, но еще важнее — достоверность чувства!

И не подозревал тогда, что там, на вершине холма, при мне, завершалась и крепла новая художественная концепция, которую позднее Тендряков изложит в своей фундаментальной работе «Плоть искусства».

В тот вечер мы были гостями у старого охотника Николая Мунконовича Мунконова, у бабушки Николая, как его все звали на побережье. Нас угощали омулем на рожне, супом-лапшой из лосятины и медвежьей печенью в сметане. Медведь был убит еще весной, печень сохранялась в погребе на льду. Огромная шкура сушилась, распластанная на коряге во дворе.

Всего на счету у Мунконова было более двухсот медведей, половина взята из берлог. Бывали сезоны, когда в неделю добывал по восемь-десять зверей. Случались и осечки, тогда приходилось схватываться врукопашную — и не раз! А сам — щупленький, сухонький маломерок, глазки-щелки поблескивают хитростью и умом.

Знал дедушка много охотничьих баек, но по-русски говорить был не мастер, стеснялся и лишь после долгих уговоров рассказал несколько.

В тот вечер Тендряков был тих и задумчив, больше слушал, почти не говорил — тосковал по Наташе, которая по всем срокам должна была родить. Четвертый или пятый день без связи с Москвой — мучительная пытка для Тендрякова. К тому же простуда — и он, и я, и Цыден-Жап сипели и кашляли.

Однако ритм поездки, программа не давали нам расслабляться, и все последующие дни, несмотря на простуду, Тендряков был, как всегда, бодр, напорист в разговорах, быстр в движениях. Поселок Давше, Ушканьи острова, возвращение в Усть-Баргузин и затем в Улан-Удэ на той же «Волге» прошли в бешеном темпе — нас подгонял Тендряков, рвавшийся к междугородной связи.

В Улан-Удэ Тендряков первым делом кинулся к телефону — Москва, Москва, как там? Наконец, связь! Еле слышно. — Тендряков кричит на весь почтайт: «Что? Что?! Не слышно!» Наконец, секундный прострел: «Наташа родила дочь! Машка! Наташа...»

Оказывается, уже ночь, улицы пустынные, Тендряков идет вприпляску, выворачивая ноги, приседая и взмахивая руками. «Вологодская хабанера», — называла этот танец Наташа. Тендряков танцует на ночных улицах Улан-Удэ «вологодскую хабанеру». Наташа родила Машку, обе здоровы — Тендряков счастлив! Готов собрать чемоданчик и — на самолет, домой!

Но... Днем нас ждал официальный обед — баран от Союза писателей, купленный вскладчину специально для Тендрякова и откармливаемый поочередно членами Союза писателей Бурятии. Что стало бы с несчастным животным, задержишься мы еще хотя бы на день, трудно сказать, скорее всего испустил бы дух от голода, но мы примчались вовремя, и баран был зарезан и сварен в полном соответствии с национальными традициями.

На этом пиршестве, проходившем на берегу мутной, почти пересохшей речушки под Улан-Удэ, во время шахматной

паузы перед прощальным чаем, вдруг вспыхнула ссора между Цыден-Жапом и каким-то бурятским писателем, настроенным, мягко говоря, «слишком по-бурятски». Высокие градусы жары и пылкий темперамент спорщиков превратили ссору в драку, и Тендряков, бросив шахматы, не раздумывая, кинулся на выручку своего друга, который раза в два по габаритам и весу уступал противнику.

Вслед за Тендряковым в драку ввязался и я. И хотя заработал в потасовке изрядный синяк под глазом, испытал радость от совместной справедливой борьбы бок о бок с Тендряковым! Впрочем, справедливости ради надо сказать, что особенно развернуться супербуряту не дали, быстро утихомирили и, напоив чаем, увезли в город. Наши шахматные партии мы заканчивали при полном мире.

Ночью мы вылетели в Иркутск. Самолет на Москву был через час. На прощанье, как бы заключая все наши разговоры о литературе, о моих первых опытах, Владимир Федорович сказал: «Пожалуй, впервые затрудняюсь сказать что-либо определенное. То, что прочитал, явно слабо, хотя что-то есть, а замыслы... синицы, их надо поймать. Скажу так: если можешь не писать — не пиши. Не можешь — пиши и присылай. Но тогда — не взъщи! Значит? — Он посмотрел пытливо, расхохотался: присылай!»

Вечером я перечитал то, что с трепетом давал читать Тендрякову. Не дрогнув, разорвал и выбросил в корзину. Мой отпуск кончился — утром на завод.

Я ехал по утреннему шоссе в Ангарск, и, хотя был измотан десятидневной гонкой с Тендряковым, подбитый глаз затек и болел, в душе росло странное светлое ощущение чего-то небывалого, огромного, вторгшегося в мою жизнь, предчувствие грядущих перемен.

И благодарность судьбе за встречу с Владимиром Федоровичем, за эту поездку по солнечному Байкалу, за открытие новых далей, за правду, которая хотя и горька, но столь целебна.

Николай Сундеев

## Город для сказочника

*Лирические этюды*

### *А у нас в Сан-Франциско...*

...Каждый миг, каждый шаг — повод для радости. Солнце льет с небес яркий свет. Ты идешь по пестрой, оживленной улице; посмотри, сколько лиц, самых разных; английская, китайская, русская речь... Красочные витрины; незатейливые и в то же время изящные строения. Ветер, летящий с океана, плещет в лицо, ерошит волосы, он словно бы хочет сказать тебе: «Радуйся тому, что живешь. И видишь кипение жизни». Я радуюсь, мысленно отвечаешь ты ему. И отвечаешь — искренне.

Поразительно все же, до чего быстро привыкает человек к красоте. Не в том смысле, что перестает ее замечать, как нечто повседневное, а в том, что привязывается к ней душой. Начинает воспринимать как что-то родное. А ведь еще недавно все здесь казалось нам чужим. Прилетев в Сан-Франциско, многие впадали в сонливость: сказывалась разница часовых поясов. Люди спали в неурочное время, потому что на Родине была ночь.

А чуть придя в себя, выходили в этот новый, абсолютно непривычный для них мир. И говорили — вслух или мысленно: «Не верю, что это происходит со мной. Что это не во сне».

Сегодня все по-другому. Мы освоились, осмотрелись в этом городе. И очень скоро многое в нем стало нам нравиться. Потому что этот город — прекрасен.

Даже у живущих здесь совсем недавно есть в этом городе любимые места. Они обнаруживаются быстро и как бы помимо вашего желания. Потому что трудно не поддаваться обаянию прекрасного, выйдя на берег Тихого Океана или придя в парк Золотые Ворота, увидев знаменитые мосты Golden Gate Bridge и Bay Bridge или прогулявшись по набережной, носящей название Fisherman's Wharf (Рыбачья Пристань). А cable car, трамвайчик, передвигающийся по рельсам при помощи тросов? А Чайнатаун? А Ломбард-стрит, которую называют самой извилистой улицей в мире? А “шоколадное царство” — Гирарделисквер? А Ротонда, возведенная в память о землетрясении девятьсот шестого года? А музеи, театры, кафе?..

Если есть у человека в городе любимые места — этот город ему уже не совсем чужой. И даже, может быть, — совсем не чужой.

Мне представляется, что именно красота этого города способствует тому, что в нас пробуждается чувство “местного патриотизма”. Разговаривая по телефону со знакомым, живущим в другом штате, вы легко произносите, сами того не замечая:

— А у нас в Сан-Франциско...

Это в вашем городе нет общественного транспорта. А у нас в Сан-Франциско... Это в вашем городе метро такое, что в него и войти неприятно. А у нас в Сан-Франциско... Это у вас воздух загазован. А у нас в Сан-Франциско...

У нас все не так. Лучше. Интересней. Красочней.

У нас в Сан-Франциско не бывает зимы. Собственно, и ярко выраженного лета — тоже: жарких дней в году мало. Этот город — обитель вечной весны, перетекающей в осень, и наоборот.

Календарной осенью некоторые деревья сбрасывают листву. Но большая часть деревьев остается зеленой. Город вечной зелени.

У нас в Сан-Франциско нет грязи и пыли. Обнаруживаешь это не сразу. Сначала — просто ощущение, что не хватает

чего-то привычного. Потом замечаешь: прошел дождь, яростный, чуть ли не тропически бурный, а грязи после него на улицах нет.

Замечаешь и то, что на траве, цветах, на листьях при любой погоде нет пыли. Нет, не скажу, что здесь идеальная чистота. Мусор на улицах не редкость, бумажки могут валяться, пустые банки из-под пива и прочее. Но пыли и грязи — нет.

В этом городе бывают дни серой окраски. Солнца нет, на небе низкие тучи. Порой мельчайшая водяная пыль касается лица. Но и в такой погоде есть своя прелесть. Потому что здесь удивительные туманы.

Там, где я жил раньше, туман мог быть плотным или разреженным, но при этом более или менее статичным. Туман как данность: выпал — и держится какое-то время. А здесь туманы очень подвижны, текучи. Вот перемещается в отдалении влажная пелена, заслоняя поросший лесом холм. Это — один вид зрелища.

Другой: туман словно бы крадучись втекает в улицу, его зыбкие волны отчетливо видны на зелени деревьев, на скатах крыш... А вот — ранний вечер, и туманное марево, мельтешащее в свете фонарей и автомобильных фар, очень похоже на мелкий-мелкий снег, на поземку... Туманы здесь сочатся, плывут, клубятся, летят, — но еще в десять раз больше нужно глаголов, чтобы передать их движение.

Видел я и такое: день теплый, светлый, множество людей в парке Золотые Ворота — Golden Gate Park, — и вдруг, в считанные минуты — туча над верхушками деревьев, и откуда ни возмись возникший туман как бы ниспадает оттуда, и под общее “ах!” окатывает людей; видно, как оно сваливается на них, это прохладное сквозное облако.

Город туманов...

А еще и город ветров, круглый год летящих с океана. И город очень активного солнца.

Солнечный день. Парк. Не знаменитый парк Золотые Ворота, которому более ста лет и где множество ар-

хитектурных памятников и обретших широкую известность мест. Совсем другой, гораздо более скромный по всем параметрам парк на улице Лэйк. Обыкновенная лужайка. Ну, что на ней? Зеленая трава, сочная. И все? Нет, лужайка-то, оказывается, с сюрпризом: приглядевшись, замечаешь среди травы маргаритки. Такие знакомые, такие привычные для нас... От этого приятного сюрприза теплеет на душе.

Но ведь, не ленись только приглядываться, сюрпризов здесь полным-полно. Вот хвоя сосенок, а рядом — куст с необычными бледно-фиолетовыми цветами. И много еще сочетаний привычного с трудноописуемым, экзотическим.

По сути, весь город полон сюрпризов. Только в разных его частях они разные. В центре, где высокие каменные строения, сюрпризом могут стать то или иное прекрасное здание, памятник, сквер. В застроенных же в основном двух-трехэтажными деревянными домами районах, таких, как Ричмонд и Сансет, сюрпризы иного рода. Идешь по тихой улочке, и вдруг — необычное дерево, чья широкая и густая крона по форме подобна крыше, здесь, наверное, спокойно можно дождь переждать.

А перед тем домом, в пространстве, которое мы бы привычно назвали палисадником, что-то вроде сада камней. А тут — яркие-яркие цветы у крыльца...

Малые и большие сюрпризы, которыми насыщен этот город, — они как будто специально для тебя, уставшего от трудов и треволнений и не совсем еще вписавшегося в новую жизнь. Они тебя словно бы утешают и снимают с сердца тяжесть.

Для любивших этот город нет большего наслаждения, чем показывать его приехавшим погостить друзьям. И, помимо туристической “обязательной программы”, открывать для них те кусочки Сан-Франциско, которые особенно запали в душу. Посмотри, как похоже на Одессу!.. А вот другой уголок города — ни дать ни взять Ялта. И с Санкт-Петербургом сходство находим, и с Кишиневом.

Так Сан-Франциско счастливо сочетает в себе черты многих городов. Или, может быть, это так у нас, эмигрантов, глаз устроен?..

Одно из самых сильных впечатлений от Сан-Франциско осталось у меня после того, как я увидел город с большой высоты, из стеклянного лифта. Я попытался передать свои ощущения в стихах:

*Лифт поднимался не спеша,  
и мне открылись с высоты  
тридцать второго этажа —  
Залив, и шпиль, и мосты...  
Стеклом от бездны ограждён,  
в прозрачном лифте, как в кино,  
я видел город.  
Был мне он  
уже знаком немного, но —  
явил он множество миров,  
соединённых без труда.  
Я этих башен и дворов  
ещё не видел никогда.  
Явил он улиц крутизну,  
и деревянные дома —  
игрушечные терема —  
и парусники, и волну...  
Был город предо мною весь —  
трамвайчик, Храмы и мосты...  
И принял я его, как весть  
раскрепощённой красоты.*

Спросят: а проблем у вас в Сан-Франциско нету что ли? Есть проблемы, как же без них. Проблем хватает. Но о них — как-нибудь в другой раз. Не в этом лирическом повествовании.

Сейчас подчеркну лишь: груз любых проблем переносится легче, если ты окружен красотой. Нужно, правда, уметь ее видеть. И даже — сознательно настраивать себя на воспри-

ятие красоты, на радость. Ведь еще древние знали, что радость — лучшее лекарство для духа и для тела.

Еще об одном своем впечатлении расскажу. Связано оно с Фишерманс Вэрф. Рыбачья Пристань — одно из красивейших мест в Сан-Франциско. Здесь горожане гуляют, любуются открывающимся видом на Залив, на мост Золотые Ворота, на остров Алькатрас со знаменитой тюрьмой, ныне бездействующей.

Хорошо виден и Остров Ангела, где, говорят, идеальное место для пикников, а потому десятки жителей города устремляются туда в выходные и праздники. А у берега стоят катера, баржи, яхты; лес мачт. Не спеша если, конечно, есть время, переходя от пирса к пирсу, можно посмотреть на лежбище морских котиков — ох, и любят же подраться, невзирая на присутствие зрителей! — можно рассматривать выставленные на свежем воздухе картины местных художников... Да мало ли чем можно полюбоваться на Фишерманс Вэрф! Музеи, необычные магазинчики...

На этот раз мы выбрались на Рыбачью пристань ближе к вечеру, перед сумерками. На берегу собралось уже много народу. Люди сидели и стояли, оживленно переговаривались, перекусывали. И — ждали. И мы ждали вместе с ними.

Когда ждешь, время, как известно, ползет как черепаха. Мне казалось, что в этот вечер темнеет как-то особенно медленно. А нам, как и всем собравшимся на берегу, нужна была темнота.

Чтобы скрасить ожидание, собравшихся развлекали: на стоящей у берега ярко освещенной барже играли и пели рок-музыканты. На воде были еще две-три баржи, другие смутно проглядывали вдаль.

...И наконец стемнело.

*Взлетая, вертятся огни,  
и разбегаются они,  
и гаснут постепенно,  
но змейки новые огня  
с Залива, темноту гоня,  
взмывают им на смену.*

*Под треск — как будто рвётся ткань —  
рождаются, куда ни глянь,  
слепящие фантомы:  
вот берег весь, где люд стоит,  
гигантской люстрой накрыт,  
а вот — подобье дома,  
а здесь — медуза, а вон там —  
трассирующих струй фонтан,  
а там — колес вращенье,  
букеты в тысячу огней —  
сносимых ветром всё сильнее,  
планеты и растения...*

*Весь берег жадно смотрит вверх,  
на этот щедрый фейерверк —  
на детище Востока;  
огни летят, меняя цвет, —  
и рвётся ввысь, за ними вслед,  
всеобщий крик восторга.*

*Вот это праздник! С барж опять  
огням неистовым взлетать.  
О, наглядеться мне бы,  
чтоб после унести с собой  
людскою радостью самой  
расписанное небо...*

Кто я в этой стране и что для меня ее праздник?.. Не успеваю додумать эту мелькнувшую мысль: пиршество цвета и звука захватывает меня; как бы вопреки всем своим рассудочным суждениям стремительно вовлекаюсь в водоворот детски-открытых, огромных и радостных чувств, главное из которых — восторг...

Так оно было у нас в Сан-Франциско в тот вечер, четвертого июля. В День Независимости США.

### **Город для сказочника**

Сырой вечер. Ветер нерезок. Не холодно. Улица, причудливый свет фонарей, витрин, рекламных вывесок. Людей ма-

ло. Можно без всякой спешки идти вдоль небольших магазинов, кафе, баров. Мимо жилых домов.

*Я вышел к кварталам знакомым,  
туда, где вдоль улиц в ряд  
около каждого дома  
автомобили спят.*

*И где у дома любого,  
как всплеск садовых искусств,  
ухоженные любовно  
цветы ли, деревце, куст...*

*Не слишком шумно, не людно.  
Покоя чувствуя власть,  
печали забыть нетрудно,  
легко в созерцанье впасть,*

*и, не довольствуясь малым,  
как на таинственный зов,  
идти квартал за кварталом  
вдоль деревянных домов...*

В этих строениях есть что-то игрушечное. Как и в растениях возле них. Наверное, великан, оказавшийся в этих краях, так бы и воспринял эти улицы и здания: как игрушечные.

Накрытые вечерней тьмой и подсвечиваемые фарами, фонарями, витринами, они воспримутся великаном как подобие волшебной шкатулки, где что-то движется, что-то происходит.

Впрочем, для того, чтобы почувствовать сказочную необычность этих улиц, вовсе не обязательно быть великаном.

*Шагом иду нескорым.  
Я с головы до пят  
в зыбком плаще, которым  
город ночной объят.*

*В мягком тумане весь я.  
Рядом ли, далеки,  
в этой волшебной взвеси  
движутся огоньки.*

*Кто-то, идущий рядом,  
так же в безмолвье врос,  
тем же пропитан ядом  
полуразмытых грез.*

*Да и деревья, зданья,  
смутные, словно сны,  
влажной и нежной тканью  
этой опьянены.*

*Жаль будет с ней расстаться...  
Утром, утратив миф,  
им предстоит вращать в свой  
резкий и трезвый мир.*

*И ожидать, как манны,  
часа больших щедрот:  
с берега океана  
снова туман придёт...*

Есть дома, похожие на замки, на терема, есть дома, прихотливое изящество которых вызывает вздох восторга. Раздолье для сказочника: при виде этих строений он легко и просто сочинял бы сюжеты своих волшебных небылиц. А может, лучше сказать — былей? Да не сочинял бы: эти сюжеты сами приходили бы к нему.

Всего-то и надо — пройтись вечером по улице Лэйк или по Сиклифу. Или — по полюбившейся мне улице Клемент. Здесь насчет дворцов и теремов — похуже, но многое мог бы почерпнуть сказочник хотя бы даже из оформления витрин, в которое вложено столько выдумки, что диву даешься.

А разве прошел бы он мимо магазина игрушек? Время позднее, магазин закрыт, но в нем горит яркий свет, игрушки — как на ладони. И крохотная комната, где семья смотрит совсем уж малюсенький телевизор, и животные, и растения, и невесты в свадебных нарядах, и индейцы, и Бог ведь кто еще застыли в этом освещенном пространстве.

Но это мы так думаем, что они застыли. Сказочник же знает: замирают они в тот момент, когда кто-то на них смотрит, а

вообще — разговаривают меж собой, передвигаются, веселятся и грустят, могут, стыдно сказать, и подраться... словом, чувствуют себя вполне непринужденно.

При сказочнике они бы не стали прятаться — свой ведь человек, понимающий — и он бы вдосталь насладился зрелищем этой необычной жизни.

Сказочник знает: не только игрушки, но и вообще все предметы, все вещи — живые. А потому он бы буквально прилип и к витрине антикварного магазина. Сфинксы, старинные часы, ковры, которым лет эдак за сто... разве не интересно послушать о чем они говорят, о чем вспоминают? Да еще и порасспросить их, окунуться, как в волны, в давно прошедшие времена, перенестись в иные страны...

А вот другой магазинчик, тоже ярко освещенный изнутри. Мебель. Простая, некрашенная, но зато, что нравится американцам, сразу видно: сделана из дерева. И здесь бы надолго застрял сказочник, внимая бесхитростным речам шкафов, стульев, столов. А когда утомился бы от их воспоминаний о родных лесах и рощах, подошел бы к книжному магазину. Беседы книг меж собой намного затейливее, мудренее...

Книги наверняка сообщили бы сказочнику, что в этом городе уже бывали его собратья. Здесь какое-то время жил прославленный автор «Острова сокровищ», а уж это ли не одна из самых чудесных сказок на свете! — Роберт Льюис Стивенсон.

Но это — в прошлом. А сказка творится сейчас, этим вечером, на этих улицах, и нужен кто-то, кто сумел бы сказку запечатлеть и поведать миру. Кто сумел бы почувствовать, как и ночью, и днем живет здесь Красота по своим непреложным законам.

Сырой вечер. Ветер несет свежесть океана. Легкий туман просачивается на улицы. Как таинственны освещенные окна домов; что за ними? Неужели обычное — ужин, семейные сцены, глаза, упершиеся в телеэкран? Или же пиршества красоты, и мудрости, и тайны, пламя высоких чувств?..

Ау, сказочник! Где ты?..

## *Прибежище*

У меня появилось прибежище. То есть место, где я чувствую себя полностью защищенным ото всего и вся. Где мне хорошо. Спокойно. Не раз бывал я в этом месте, но не подозревал, что это — мое прибежище. Мне там нравилось. Огромные ели широко расставили свои ветви, оттого сверху почти не пробивается свет. Кажется, ты в вековом лесу. И это — в Сан-Франциско... Под ногами — шишки, пружинящий слой хвои. Зелени мало — какая же зелень вырастет в такой тени?

В этом месте вспоминается выражение из русских сказок: дремучий лес. Ну да, это как раз об этой низине, как раз об этих елях. И о поваленных бурей стволах, и о гигантских пнях, и о сплетениях корней...

Но, как оно и водится в американских парках, дремучесть и запущенность этого уголка — иллюзия. Совсем рядом, чуть подняться, движутся по шоссе автомобили. И бегут по тротуару неутомимые борцы за свое здоровье — полные и худые, молодые и старые; майка, шорты, плеер на шее, наушники, как и следует из названия, на ушах — типичная экипировка таких бегунов.

А я стою в «дремучем» лесу. Среди елей. Птиц слушаю. Мне хорошо. Но время короткой вылазки на природу подходит к концу, и я возвращаюсь домой. И дома вспоминается мне не один лишь этот ельник; нет, с какой бы стати? Я ведь и по зеленым полянкам походил, и на цветы налюбовался, и на искусственный водопад, и на уток, плавающих в озере... Много чего повидал.

Но вот пришло время, когда я довольно долго не был в парке. Стало меня тянуть туда, да только несколько странным образом. Подумаю о парке — встают перед взором высокие ели, и как бы окунаюсь в тот полусумрак...словно весь парк сошелся для меня в одной точке. Пытаюсь представить другие его уголки, но перед глазами — все те же ели... И как будто настойчивое повеление ощущаю — пойти туда.

Наконец, нашел время и для парка. Чуть не весь его обошел. Порадовался обилию причудливых растений, игре светотени,

сплетениям красок и оттенков. На душе — легко, даже стал негромко напевать. И все же чего-то словно бы не хватает...

И как-то само собой получилось — вышел я к тому ельнику. Спустился под сень разлапых ветвей, к стволам в два-три обхвата. И тут последняя тень тревоги отлетела от души моей, и последняя капелька печали растворилась, растаяла в волне накатившей радости.

Сознание, недремлющий цензор наших чувств, пыталось сопротивляться: да что же это такое? Место ведь — ничего особенного, по сути! Чем оно лучше других?.. Но спустя мгновения канули, позабылись эти мысли. И я почувствовал, что здесь — мое прибежище. И для тела, и для души. И это ощущение было таким отчетливым, прочным.

Научного объяснения этому факту дать не могу. Но было именно так. И стало открываться мне — и вверху, и рядом, и под ногами — множество занятных мелочей. И сами собой стали приходиться какие-то строчки. И сюжет сказки вдруг явился, неожиданно-негаданно.

Господи, как хорошо! — думал я. — Благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне это прибежище. Так я на него в первый раз наткнулся, на это слово — прибежище — и понял, что лучшего слова для моего места не найду.

Но, может, я занимаюсь самовнушением? Неужели только тут мне так замечательно?..

Ради эксперимента я отошел немного, туда, где ельник стал редеть, где посветлее. И почувствовал как бы легкую горечь утраты. А ведь, казалось бы, та же хвоя под ногами, те же шишки, и палки, только чуть посветлее... Нет, потянуло назад. И я вернулся.

Я нашел шишку, некоторое время пролежавшую на сырой после дождей земле — и увидел, что сквозь нее, изнутри, пробиваются два тонких острых ростка травы.

И подумал, что, наверное, именно из-за того, что шишка может стать удобным «домиком» для прорастающих семян других растений, испытал я однажды странное ощущение. Из парка на улице Лэйк принес я домой штук пять шишек. И начало одолевать меня беспокойство. Через несколь-

ко дней вылилось оно в стойкое чувство: шишки нужно положить на землю. И я отнес их обратно в парк. И сразу почувствовал облегчение...

Перегородивший тропинку спиленный ствол дерева я откатил, поочередно толкая его ногами, в сторону. И пожалел, что не могу не то что откатить, а даже с места сдвинуть другой, гораздо более мощный ствол, упавший на красивые, высокие цветы...

Но то, что я делал, не главное. Главное — я чувствовал себя счастливым. И переполненным благодарностью: к природе, и к человеку, шотландскому садоводу Макларену, благодаря которому сто с лишним лет назад возник этот парк.

И к Тому, кто сотворил и природу, и человека, и объемлет собою все мироздание. В том числе и мою душу. К Тому, кто даровал мне это прибежище.

### *Этюд о непуганой рыбе*

Озеро невелико. Но не без сюрпризов. К птицам на нем мы привыкли. А тут вдруг и черепах обнаружили.

А однажды на мелководье, у самого берега, мы с дочкой увидели пять или шесть рыбин. Крупных, килограмма по три каждая. Они неторопливо проплывали, вычерчивая в воде причудливые круги и эллипсы. Доплывут до какого-то только им известного рубежа и поворачивают, взблескивая чешуей, шевеля хвостами и плавниками.

Тела этих рыб красивы и упруги, дышат природной силой. Гармонией. Они похожи на наших зеркальных карпов. А может, это буффало, американская разновидность карпа?

Ловить рыбу на озере запрещено. Потому рыба привыкла к человеку и не боится его. Мы потом видели рыб в этом озере еще много раз. Когда приходили кормить хлебом птиц.

Из-за частых кормежек птицы тут не бросаются на хлеб с той яростью и страстью, какие доводилось видеть на других озерах. Даже чайки, обычно с хищным криком стремящиеся схватить угощение раньше прочих, а то и отнять его у более слабых соперников, здесь не столь активны.

Так что и уткам что-то перепадает, и другие птицы не в обиде. Голуби, существа сугубо сухопутные, подбирают не только то, что на берегу, но и в воду рискуют заходить. Туда, где им, пользуясь определением из человеческого лексикона, по щиколотку.

Нет, какая-то суета, конечно, есть. Но без ажиотажа. А порой и вовсе одни только уточки подбирают на воде хлеб.

Когда претендентов на угощение немного, приплывают рыбины. И те, из семейства карповых, и другая красного цвета. Я такую видел в Японском чайном саду в парке Золотые Ворота. Но та была намного меньше.

Уток рыбы не боятся. Наоборот: утки вздрагивают и крикают от неожиданности, когда совсем рядом раздается всплеск и становится видна рыбина, круглым своим, широко раскрытым ртом заглатывающая хлеб. Если кусок слишком велик, справиться с ним удастся лишь с двух-трех попыток.

Эй, рыбины! Где ваша величественная неторопливость? Легко и резво вьетесь вокруг хлеба. В азарт вошли. Иной кусок плывет по воде, как живой: это ваши рты снизу и с боков его подталкивают...

И мелькнет мысль: забросить бы сейчас сюда удочку, а на крючок — комочек из хлебного мякиша... Ноет душа рыболова, а поделывать ничего нельзя: ловля запрещена.

С другой стороны, предостаточно на Земле мест, где рыбу можно ловить. А много ли таких, где рыба непуганая? Есть непуганые животные, в Калифорнии этого нельзя не заметить. А тут — непуганая рыба. Озеро — своего рода маленький заповедник для нее. Впрочем, не только это озеро, но и другие. В небольшом парке на улице Лэйк, в других местах Сан-Франциско.

Занятное зрелище: рыбины, не боящиеся людей. И привыкшие к тому, что люди их хлебом подкармливают. Картина почти идиллическая. И тем не менее невыдуманная.

Мы с дочкой часто видим их, этих рыбин непуганых. Смеемся над тем, какие они кульбиты вокруг хлеба выделывают. Любуемся ими.

И озеро-то невелико. А радости сколько...

## **У океана**

Теплым летним днем на пляже Бэйкер-бич, недалеко от места, где Тихий океан сливается с Заливом Сан-Франциско, мы с дочкой построили из песка два волшебных города с замками, башнями, рвами, потайными переходами. Дочка называла эти города королевствами. У каждого из них был даже свой флаг в виде птичьего пера, воткнутого в самую высокую из башен.

Тени гонимых ветром легких облаков стремительно пробежали по пляжу. По лежавшим и сидевшим людям. По собакам, радостно бросавшимся в воду за теннисным мячиком, который зашвырнул туда, прямо в крутую волну, хозяин. По ребятишкам, со счастливым визгом бегавшим по кромке прибоя.

Было хорошо и спокойно. Я думал о том, сколько раз уже строил замки из песка или гальки на приморских пляжах. И всегда, как и сейчас, это было блаженным уходом от колючих забот повседневности, погружением в особый, сказочный мир.

Разница лишь в том, что тогда к пляжу, к соленой воде и рокоту прибоя нужно было добираться издалека. А сейчас все это под боком. Мой дом в получасе ходьбы отсюда. Вот что странно, вот к чему я до сих пор еще не привык.

Я никогда не жил в приморском городе. Вырос у воды, но у речной, на берегу Днестра. Потом в полностью сухопутный город перебрался. Я не испытывал зависти к обитателям приморских городов, но было ощущение, что в чем-то им повезло больше, чем мне.

Ведь они жили рядом с морем. Могли видеть его днем и ночью, и в разные времена года, в штиль и в непогоду. Могли плавать в нем, и рыбачить, и загорать на его берегу. Впитывать в себя цвета моря, его запахи, звуки. Разговаривать с ним.

Читать ему стихи о нем. «Прощай, свободная стихия...», «Облака плывут над морем, крепнет ветер, зыбь сильней...», «Ай, Черное море, хорошее море!..», «Стихи и шторм. Стихи, и плащ, и шляпа...»

И вот — поворот в судьбе. Сначала ум и чувства занимает главное: я в другой стране. Потом приходит осознание: я стал

жителем города не то, чтобы приморского, а приокеанского. Это еще поразительней, чем приморского. В первые встречи с Тихим океаном — и Заливом, как его частью — невольно сравниваешь: похоже ли па то, что видел раньше.

Похоже на Крым. И скалы как будто те же... Нет, хромают сравнения. Слишком уж поражает воображение эта ширь, эта мощь. И неукротимый рев прибоя.

Нельзя купаться, вода круглый год холодная. Этим летом и осенью была чуть теплей обычного, но все равно не то... Однако утешаешься, глядя на вздымающиеся валы, и на сосны на берегу, и на чаек, с криками кружащихся над водой.

Эта красота — первозданно величественна и непреходяща.

Город, стоящий на берегу океана, не может не быть пронизан его токами. Не может не быть связан с ним теснейшим образом. Свидетельств этой связи — множество. Корабли и баржи, входящие в порт и отчаливающие из него, парусники и яхты на глади воды, и удивительные туманы, и летящие по улицам ветра, и рыболовы со спиннингами на пляжах и пирсах — всего и не перечислишь...

На берег океана многие приезжают на машинах и приходят пешком специально для того, чтобы полюбоваться закатом солнца. Посмотреть, как огненный шар светила погружается в воду.

Не знаю, что замечательней: само это зрелище или то, что у людей есть потребность в нем. Ведь дело-то происходит в Америке, где бешеный ритм, гонка, казалось бы, вьелись в душу и плоть...

Теплым летним днем мы с дочкой сооружали из песка «королевства». Я думал о том, что она еще не видела, но непременно увидит океан в ином обличье. Там, за городской чертой, долго-долго дорога идет вдоль океана, порой очень близко к нему. Там виднее его безмерность, необузданность, дикость. И то, что он многолик и исходит биением жизни. Ей, моей дочери, еще предстоит это счастье: увидеть белочек, живущих в земляных норках на берегу, и морских львов на скалах, и птиц над волнами, и многое другое из того, что я уже увидел, услышал, почувствовал...

Странно, еще несколько лет назад я не подозревал, что окажусь здесь. И что так дороги станут душе океанская ширь, игра красок на ней, рокот прибоя, бьющегося о скалы...

### ***И снова — по знакомым улицам...***

Мне нравятся улицы, на которых можно отвлечься от суеты, без помех подумать о своем. Почему же тогда меня привлекает Клемент-стрит? Ведь тут людская толчея, многоголосье, тут сплошь рестораны, кафе, магазины... Более спокойный участок — и снова толчея.

Как ни странно, в этой суете есть что-то успокаивающее. Это суета без агрессивности, без нервозности. А то и с оттенком праздничности.

Каких только ресторанов, кафе, баров, закусочных тут нет... Китайские, вьетнамские, тайландский, итальянский, румынский... На все вкусы. И с самыми разными «примочками». В этом заведении ты сам можешь приготовить себе вожаденное блюдо, жаровня — прямо на столе. А тут на клочке земли в зимнем саду ухитрились соорудить водопад с небольшим озерком. А в этом баре каждый вечер — живая музыка, играют четверо парней. В окне вот этого ресторанчика огромная бутылка вина...

Витрины, вывески, рекламные щиты. Пестрота красок. Множество машин. Людская толпа то плотная, то средней густоты.

«Базар», — морщится при упоминании Клемент-стрит мой знакомый из района Сансет. Неправ он. Улицы «базарного» типа, шумные, крикливые, грязные — мне и самому не по душе. Клемент — это другое.

Это — дыхание доброжелательной раскрепощенности.

А Сансет местами какой-то уж слишком тихий. Провинциальный городок напоминает. Небольшие дома, рядом с ними автомобили припаркованы. Даже не верится, что это Сан-Франциско, вторая после Парижа туристическая столица мира.

Впрочем, удивляться особенно нечему: Сан-Франциско, при всей его компактности — многолик.

На Клемент красота пестроты и многообразия. А неподалеку, на улице Лэйк красота спокойствия и ухоженности. Зелень, цветы самых неожиданных форм и оттенков, изящные строения. Много тех, кто бежит за здоровьем — разного пола и возраста. И еще здесь постоянно встречаешь людей с собаками.

А вот лебедь, белоснежная птица с гибкой шеей. Поднимается по ступенькам вслед за человеком. Но в дом попасть не удастся: человек захлопывает дверь прямо перед его клювом. Лебедь обиженно гогочет. Другой мужчина сминает его вниз. Что-то говорит, поглаживает, угощает печеньем — и лебедь идет за ним. Мужчина ведет его в парк, который сразу за домом. Там лебедь и живет. Ночует в специальной загородке недалеко от озера. А днем он разгуливает на свободе. Жители окрестных домов присматривают за ним.

*Мягко день угасает погожий.  
Глуше звуки, и реже прохожий,  
и уже безбоязненно птица  
на газон перед домом садится.  
Ни с какою не спутать другою  
эту улицу, волны покоя...  
Здесь ясней, что мы живы не гонкой,  
что свобода бывает негромкой.  
Тут машин относительно мало.  
Всё тут сделано не по шаблону.  
О, зелёные эти кварталы!  
Эти башенки, штили, колонны...  
Здесь порой ощущается остро:  
красота со свободой — сёстры.*

### ***Этюд о тропе***

Это удивительные места...

Места, где океан становится заливом.

Сначала конца края океану не видишь. А потом замечаешь в отдалении противоположный берег. У океанской ши-

ри появились границы с двух сторон. Так начинается Сан-Францисский Залив.

Противоположный берег крутой, обрывистый. Берег здешний тоже.

У этого берега как бы несколько ярусов. Нижний, где вода накатывается на песок, с размаху бьет в прибрежные камни. Следующий ярус — пешеходная тропа, извилистая дорожка вдоль обрыва над линией прибоя. От Пойнт Лобос какое-то время идешь по асфальту, а потом путь превращается в тропу, то узкую, где едва разминутся двое, то широкую, где и человек шесть-семь в ряд могут пройти.

Есть и другая тропа на следующем ярусе, выше. Также извилистая, тоже проходящая между буйно разросшейся с двух сторон зеленью, но более узкая. По ней можно выйти, при желании, на последний ярус, где стоят здания, где уже явное царство цивилизации.

...Извилистая тропа идет от места, именуемого Пойнт Лобос, до смотровой площадки ниже музея Почетного Легиона, той, с которой лучше всего виден мост Золотые Ворота — Golden Gate Bridge. Расстояние немалое, особенно если учесть все повороты, подъемы и спуски, преодоление множества ступенек. Потому и стремятся сюда бегуны, велосипедисты, любители быстрой ходьбы.

Ну, и просто пешеходы, вроде меня, которых больше привлекает не столько скорость и нагрузка, сколько возможность побыть среди поражающей воображение природы. Тут ведь и океан, и скалы, и густые заросли...

Сколько растений, хвойных и лиственных, как они переплетаются, создавая порой непролазную чащу по обе стороны тропы!

Мне не надоедает снова и снова приезжать сюда. Тут всего так много, что описать это можно, пожалуй, лишь в весьма объемной книге.

Не раз и не два ходил я по тропе, запомнил многие ее повороты, подъемы и спуски. А еще я знаю, где к тропе подступает причудливо изогнутое дерево, напоминающее по форме оле-

ня. Я знаю место, где к океанской воде припало огромное каменное существо — не то медведь, не то древний ящер...

Но, когда думаю об этой тропе, я понимаю, что влекут меня сюда не столько какие-то детали, пусть очень яркие и выразительные, сколько общее ощущение захватывающего дух простора, не поддающейся описанию природной мощи.

Какое счастье, что присутствие человека-творца обозначено лишь там, где действительно необходимо — деревянные мостки над овражками, указатели, ступени, а за исключением этого все оставлено в первозданной дикости. И скалы — это скалы, а не их имитация, и чащи такие, что не через всякую продерешься, и спуски-подъемы требуют серьезных усилий... Именно эта возможность соприкоснуться с настоящей дикой природой и притягивает сюда людей.

...Эта ель намного выше меня, но ее вершина находится на одной линии с моей головой. Потому что ель растет снизу, из обрыва, а я стою вверх, на тропе.

Поглядишь вниз — какой крутой спуск! Он густо зарос деревьями и кустами. Страшновато туда смотреть. Но, однако, тут и там протоптаны тропы: кто-то по этой крутизне спускался вниз, к самому прибою.

Это — слева от меня. А справа — почти отвесный склон горы. И тоже среди кустов и деревьев есть тропа, ведущая вверх.

Эти тропы подтверждение того, что не перевелись в наших местах любители острых ощущений. А также те, кто любит идти напролом, а не в обход. Ибо, строго говоря, нужды в этих «самопальных» тропинках нет: в нескольких местах есть вполне цивилизованно оформленные подъемы и спуски на другие ярусы высокого берега.

Едва начинаю идти по тропе, вспоминается строчка Блока: «Как океан меняет цвет...» Просто невероятно, насколько по-разному бывает окрашена океанская вода. Темно-синяя, серая, голубая, зеленоватая; в одних и тех же местах

разная в разное время дня; краски смешиваются, переливаются одна в другую, образуя совершенно непередаваемые сочетания...

Но произвести сильное впечатление может и почти полное отсутствие красок. Недавно я видел океан в тумане. То есть видел я только туман, а океана не было. Была лишь прибрежная полоса воды, волны накатывались на берег.

Вода была серой. Туман — беловато-серая пелена вроде мутной слюды.

Исчезнувший, почти полностью съеденный туманом океан — вот какая была картина!

Каково-то приходилось кораблям и баржам, плывущим в Сан-Францисский порт и из него, при такой видимости?

Я шел по тропе, и на открытых местах снова и снова видел туман на месте океана. Но на обратном пути сквозь серые тучи в небе начал пробиваться свет, и тумана стало меньше, а океанской воды — больше, полоса ее становилась все шире...

И уже не таким надрывно-тревожным казался повторяющийся сигнал звукового маяка, предостерегающего суда от захода в опасные места недалеко от нашего берега: там торчат из воды каменные глыбы...

Одна из причин, по которым я люблю бродить в этих местах, — шум прибоя. Не знаю, почему он так притягателен, почему так гипнотически воздействует на меня. Может быть, потому, что это, по сути, едва ли не самый древний звук на нашей планете. Звук из тех времен, когда на заполненной водой Земле только-только стали появляться островки суши, а на них накатывались волны...

Может быть, это оживает во мне какая-то генетическая прапамять о той непредставимой эпохе...

*Сквозь дождь я двигался вперед —  
там волны проявляют норы,  
там от ритмических повторов  
прибоя  
оторопь берёт.*

*Песок и ветер, и волна,  
и — ни души вокруг...  
И мнится,  
что я попал во времена  
до человека, зверя, птицы...*

На открытых местах с тропы хорошо виден мост Золотые Ворота, соединяющий два берега залива. Многократно описанный, справедливо называемый рукотворным чудом, он изящен. Издали он кажется легким, воздушным, чуть ли не игрушечным. Мост органично вписывается в панораму этих мест.

...Длинная серая баржа неторопливо движется в сторону порта. А навстречу ей из-под моста выплывает двухпалубный белый красавец-корабль. Суда гудят, оповещая друг друга о своем присутствии. И вот они уже благополучно разошлись.

А бывает так, что нет в районе моста крупных судов. Есть только парусники. Иду по тропе и люблюсь ими. И красавцем-мостом над заливом:

*С каким-то новым интересом,  
как бы в приливе новых сил,  
смотрю на холм,  
поросший лесом:  
его туман полуприкрыл.*

*Туман не ухватить, не взвесить.  
Неуловим, неуследим,  
минут, быть может, через десять  
растает в воздухе,  
как дым.*

*Он не залётный, он отсюда,  
туман, такой же, как вчера.  
Он — и угроза,  
и причуда,  
и украшеньё, и игра.*

ГОРОД ДЛЯ СКАЗОЧНИКА

*Привычно размывая грани,  
царит...  
И поражает взор  
мост, провисающий в тумане  
без всяких видимых опор.*

*1995–1997, 2013*

Елизавета Паршина

## Военная контрразведка<sup>1</sup>

Через пару дней я пришла за документами и аттестатами на продовольствие и обмундирование. Подписала их, не читая, потому что мне и голову не приходило, в центральном аппарате НКВД меня могут обмануть. Прощаясь, Эйтингон сказал:

— Если вам там не понравится, можете вернуться обратно в любое время.

Продовольствие мне выдали, а обмундирование нет. Я подумала, что выдадут на месте назначения, но в Краснодаре сказали: «Все, что положено, вам уже выдали», — и показали мою подпись. Так я начала службу в том, что получила еще на первом курсе академии. Неудобно было даже шинель при людях снимать, до такой степени все было изношено.

Этот случай был не единственным. Потом меня не раз просили подписываться под тем, чего я не получала, но я была уже умнее.

Двоих я, как говорится, поймала за руку, и они были уволены, но дело далеко не всегда доходило до открытого скандала. Начальство безнадежно махало рукой: мол какой смысл на место одного жулика брать другого. С течением войны и особенно по ее окончанию количество их возрастало.

Итак, в сорок третьем году я, отстояв изрядную очередь в кассу и взяв приступом свое место в жестком вагоне, ехала в

---

<sup>1</sup> Продолжение материала «Разведка без мифов» в № 250 — *Ред.*

Краснодар с бумагой, где было сказано, что старший лейтенант НКВД Е. А. Паршина направляется в распоряжение начальника Управления «Смерш» Северокавказского фронта.

Бумага эта проявила себя самым неожиданным образом. В вагоне кто-то окликнул меня по имени. Оказалось, это мой сокурсник по фамилии, кажется, Корсаков. Он прекрасно учился, отличался строгим дисциплинированным мышлением и считался очень перспективным.

В боях за Харьков, когда Малиновский со своей армией «влез в мешок», Корсакову не удалось выбраться из окружения. Он переделался в гражданскую одежду и стал работать санитаром в госпитале, ожидая нового, более успешного наступления наших. С карьерой, конечно, было покончено. Хорошо еще, что погоны оставили. Малиновский за эту операцию тоже чуть не угодил под трибунал, но сумел как-то вывернуться.

Поезд шел через Сталинград, поскольку Воронеж и Ростов были еще в руках немцев. На какой-то станции нас пересадили в теплушки товарного состава. Мы спали вповалку головами к стене, шапки под голову, полевые сумки под бок. На остановках, которые раньше были станциями и вокзалами, получали сухой паек и набирали во фляги воду. Водопроводы были разрушены, и мы набирали воду из луж от тающего снега. На полях и в оврагах еще лежали трупы, начинавшие понемногу оттаивать. Вода, таким образом, была не безопасной, но другой не было.

На одной из остановок поезд стоял больше часа, и я прилегла на солнышке подышать свежим воздухом. Вскоре дали отправление, но когда я попыталась встать, живот пронзило резкой болью. Я не могла даже пошевелиться, только провожала глазами уходящие вагоны.

Вероятно, из вагонов меня не было видно, а соседи не сразу заметили мое отсутствие. Так поезд и ушел, увозя мои вещьмешок и шинель. Хорошо еще, что полевая сумка была при мне.

Я достала оттуда кристаллик марганцовки — из московских запасов для приготовления взрывчатки, развела в ладо-

ни талой водой и выпила. Боль скоро прошла, и я по шпалам пошла в сторону Сталинграда, до которого по моим расчетам, было километров пять.

Через некоторое время на пути стали попадаться остатки каких-то сооружений, а скоро открылся и город. Это было море сияющего под солнечными лучами битого стекла. Добрела до вокзала. Вернее, до того места, где он когда-то стоял.

На нескольких не ведущих никуда ступеньках сидело двое мужчин. Оказалось, бывший секретарь обкома и бывший начальник вокзала. Следующий поезд ожидался через час, но теперь поезда проходили это место без остановки. Мой поезд, по их мнению, должен задержаться на следующей станции для заправки водой, но дальнейшего разговора не получалось. Так мы и просидели молча целый час.

Наконец, показался какой-то товарняк. Громыхая на старых стрелках, он замедлил их ход, и я успела запрыгнуть на площадку. Было все же довольно холодно, но состав тащился через город медленно. Все было пустынно, только в одном месте работала группа кавказцев, расчищая придорожную улицу от руин. Командовала ими немолодая, очень худая женщина в черных резиновых калошах на босу ногу.

Свой состав я действительно нагнала на второй или третьей станции. Он стоял на запасном пути и заправлялся водой. Ребята получали сухой паек, и я тоже отоварилась, потом пробралась к своему месту, но лечь уже не смогла. В животе началась такая резь, что первый приступ показался мне шуткой. Меня с трудом уложили и я пролежала более суток. Позже врач объяснил мне, что марганцовка сильно высушивает слизистую оболочку, и при такой концентрации раствора я осталась жива лишь случайно.

Проснувшись утром, я увидела на горизонте первые лучи солнца. Все офицеры спали. Пошевелиться, однако, не смогла. Оказалось, на моих ногах крепко спит какой-то паренек. Я разбудила его, а он так сильно смутился, что пропало всякое желание ругать его.

На Кавказской снова пришлось пересаживаться, и дальше мы ехали уже не в теплушках, а на их крышах. Но настро-

ение было хорошее, потому что и сухой паек, и курево еще оставались. Рассказывали массу всяких случаев, и невозможно было отличить, где правда, где вымысел — в войну случаются самые невероятные события. Так и добрались до Краснодара, пожали друг другу руки и разошлись.

За всю дорогу никто и словом не обмолвился, в какую часть едет, хотя мы не знали даже имен друг друга. Документы у нас проверяли только один раз, да и то это были простые солдаты во главе с сержантом.

В комендатуру я не пошла, решила сама найти штаб Третьего управления. Наверняка в центре города, но, понятно, не на главной улице, как обком. Скорее всего, в одном из прилегающих переулков, потому что с транспортом был дефицит, а телефонным проводам доверять нельзя. Естественно, офицеры вынуждены пешком днем и ночью снова из штаба в штаб.

Город был в основном цел, но центральная улица — Красная — пострадала основательно. Штаб «Смерша» я нашла по строго одинаково — немного выше середины — занавешенным окнам. Часовой проверил мои документы и пропустил в приемную. В другом штабе он вызвал бы дежурного офицера. Ну, слава Богу, добралась.

За большим письменным столом сидела немолодая женщина одного со мной звания. Поздоровавшись, я положила перед ней направление. Она подозрительно оглядела меня и начала его читать. Читала она эти три строчки так долго, что я начала злиться. Выражение ее лица тоже стало довольно напряженным.

— Ничего не понимаю, — сказала она наконец.

— Вы дежурная по штабу?

— Да, я дежурю, но это тут ни при чем.

— Как «ни при чем»? Доложите генералу.

— Что докладывать? Я сама должна сначала понять.

— Тут понимать нечего, всего три строчки.

Она снова прочитала направление и растерянно посмотрела на меня.

— Вы из Москвы?

— Разве это не ясно из документа?

— А вам ничего не поручали передать на словах?

— Ничего. — Я готова была сорваться. «Вот тупица! А может контуженная?»

— И что я должна делать?

— Доложить! Понимаете? Доложить! А если вам нет охоты докладывать, то просто положите перед ним на стол эту бумагу.

— Но я сама должна сначала понять... Я ведь уже здесь!

— При чем тут вы? О моем приезде доложите! О моем!

— Но написано-то обо мне! — Чуть не плача сказала дежурная.

Я от досады бросила на пол свой мешок и села напротив нее.

— Читайте вслух!

— «Старший лейтенант НКВД Е. А. Паршина направляется...»

— Ну?! Что ж тут непонятного?

— Так я давно уже здесь...

— Вы Паршина?!

— Да...

— Е. А.?

— Е. А.

«Потрясающе! И звание такое же!»

На шум из кабинета выглянул Михаил и, увидев наши лица, начал хохотать. Действительно, нас на все вооруженные силы может быть только две таких и было, и надо же, чтобы мы встретились в одном кабинете! История эта моментально облетела весь штаб и еще долгое время пересказывалась со всевозможными вариациями и дополнениями.

Белкин провел меня в свой кабинет, и мы долго говорили о столичных новостях, о родных, о друзьях и однокурсниках. За обедом он познакомил меня со своим заместителем и адъютантом, которого за свой стол, надо заметить, не посадил. Михаил распорядился разместить меня на квартире вблизи штаба и отправил отдыхать.

На следующий день я должна была явиться в штаб еще до завтрака. Белкин представил меня начальнику Второго разведывательного отдела. Я была зачислена в штат Управления на должность старшего оперуполномоченного и мне предстояло заниматься радиогрифом: передавать через перевербованных агентов дезинформацию. Разговор предстоял основательный, и Белкин приказал адъютанту никого не пускать и телефон не соединять.

Для радиогрифа использовались обычно агенты и группы, сдавшиеся нам добровольно, а в особых случаях и перевербованные после захвата или ареста.

В этом деле были свои тонкости и сложности. Дезинформацию нам готовили в штабе фронта. Передавать ее нужно было примерно с того места, куда была выброшена группа, а если она имела задание следовать по какому-то маршруту, то и нам следовало перемещаться, учитывая возможность пленения.

Нельзя было передавать то, что агенты не могли видеть со своей позиции на местности. Нужно было учитывать уровень их развития, грамотности и степень подготовки; нужно было постепенно снижать мощность сигнала, просить новых батарей, бумаги, карандашей и особенно денег и водки. Нужно было знать, что каждый радист имеет свой почерк, а каждая радиостанция свой «голос» — характерный тембр сигнала и собственного шума; нужно было иногда допускать мелкие ошибки в шифровках и многое другое.

Мы разговаривали, удобно устроившись вокруг маленького круглого столика, когда прозвучала воздушная тревога. Вскоре захлопали зенитки, нарастал гул бомбардировщиков. Мы продолжали разговор, только пришлось повысить голос. Начали рваться бомбы. Мне, конечно, никак нельзя было реагировать: из тыла, да еще женщина. Белкин тоже и бровью не повел — как-никак начальник, командир, тем более при женщине. Полковнику совсем уже деваться было некуда.

Так мы и сидели, как полные идиоты, а разрывы нарастали, немцы делали второй заход. Михаил только раз оглянулся на окно, когда бомба упала поблизости. Разговор при-

шлось прекратить, и мы сидели молча. Я закурила. Белкин был не курящим, а начальник отделами закурить посмел. Потом Михаил подошел к телефону и как бы из любопытства спросил у дежурного ПВО:

— Сколько самолетов в воздухе?

— Двадцать семь.

Он положил трубку, покачался на каблуках и, подойдя к нам, погрозил мне пальцем:

— Ну, знаешь ли! Над нами целая эскадрилия, а ты тут изображаешь!

«Сам хорош!» — подумала я, но в ответ только невинно пожала плечами.

Но бомбежка уже прекратилась, самолеты уходили, лишь зенитки продолжали стрелять. Это был единственный случай, когда Белкин при посторонних обратился ко мне на «ты». Он еще раз позвонил на ПВО и справился о потерях. Погибло четырнадцать человек, разрушено четыре дома на окраине и одно здание в центре, где, кстати никого не оказалось; и одна легковая машина. Одного человека взрывной волной перебросило через крыши домов на соседнюю улицу, но он остался жив.

Оказалось, что это был самый сильный с начала войны налет на Краснодар. Его результаты меня очень удивили. Получается восемь бомб на одного погибшего. После этого я изменила свое представление об опасности воздушных налетов. В кино, конечно, что ни бомба, то машина на куски, то дом в щепки, то человек в клочья. Потери противника составили два или три самолета, но это приблизительно, потому что часто бывает, что самолеты уходят за линию фронта безнадежно поврежденными или с наполовину перебитым экипажем.

Помню один такой же налет по Испании — тоже эскадрилей в два захода. Я была на аэродроме километрах в тридцати от Мадрида. Самолеты шли немного в стороне, и наблюдатели решили, что они идут на Мадрид, поэтому тревогу не объявили. А они развернулись и пошли на нас.

Успело взлететь только одно звено из трех истребителей, и то последний самолет влетал уже под разрывами бомб. Ими

командовал мой земляк Сергей Черных, ставший потом Героем Советского Союза. Мы едва успели отъехать на машинах метров на пятьсот от аэродрома и лежа наблюдали за боем.

Истребители атаковали противника, пока тот не ушел за линию фронта. Потерь с обеих сторон не было, только у нас сгорели два ангара, самолеты из которых все же успели вывести, и перепахали взлетно-посадочные полосы, так что ребятам пришлось садиться на другом аэродроме.

Итак, Белкин приказал начальнику отдела передать мне все радиоточки и добавил, что больше от него ничего не требуется. Это означало — не вмешиваться в мои дела. Помогать мне должен был капитан Евдокименко, очень хороший работник, явно превосходящий своего начальника.

На момент начала моей работы радиоточек было три. Мы выезжали в нужные квадраты с шофером Валико, которого все называли почему-то Сулико; радистом нашего отдела Володей Великановым и немецким агентом-радистом. Чтобы не было задержек в пути, одевались в военную форму.

Был некоторый, незначительный риск, что немцы засекут наши передвижения через местную агентуру, но начальство из удобства работы шло на него — рисковали ведь не жизнями людей, всего лишь провалом точки.

Однажды мы поехали на точку, куда получили несколько дней назад «посылку»: сменные батареи, несколько сот тысяч рублей фальшивками — обычная для немцев практика, бумагу, карандаши и бидон водки.

У этой точки стояла небольшая хата, обнесенная забором. Там постоянно дежурил наш солдат. Мы вышли в эфир, передали очередную «дезу», подготовленную для немцев в штабе фронта и зашифрованную у нас в отделе, получили «квитанцию» и уже хотели сворачиваться, как получили запрос: можем ли мы принять немецкого агента.

Я ответила открытым текстом «ОК», то есть «все в порядке, можем», шифровку без утверждения у начальства посылать категорически запрещалось. Возможно, немцы знали наши порядки, потому что потребовали: «Зашифруйте и передайте шифром». Время дали десять минут.

Конечно, за это время я не могла смотаться в город и обратно. Связываться по этой радиостанции со своими тоже нельзя было: ее «голос» известен. Даже если бы у меня была и другая рация, все равно нельзя было выходить в эфир из этого же квадрата.

Я махнула рукой и передала ответ шифром. В ответ был приказ выйти на связь через день. Мы смотали антенну и поехали в Краснодар — это около семидесяти километров.

В штабе решили агента принять, но не брать на месте приземления, а, подключив членов перешедшей к нам группы и переодев меня в хозяйку хаты, посмотреть его связи и дальнейшие действия. Все подготовили, даже «посылку» запрятали в хате, и в положенное время я — то есть немецкий радист — вышла на связь.

После обычного радиообмена последовало: «ждать один час». Оба радиста злые — сидят, не снимая наушников, все голодные, а дело идет к вечеру. Все могло случиться. Если точка провалилась, на нас просто могли сбросить бомбу — хотя тут еще проблема — попасть. А если у них просто подозрения, могли за это время устроить проверку — кто с ними разговаривает. Но делать нечего, сидим ждем. Через час последовало еще одно: «ждать один час».

Опять сидим ждем. Перед заходом солнца немцы передали длинную шифровку. Неожиданно они меняли место. Агента будут выбрасывать на предыдущее место, километрах в двух южнее, где мы принимали «посылку».

Самолет будет заходить с запада, то есть со стороны солнца, опознавательный знак — три костра треугольником. С переменной места срывалось наблюдение, а времени связаться со штабом снова не было. Я имела только двадцать минут, необходимые их радисту для расшифровки. Из них пять минут уже прошло.

Отправила Сулико на полной скорости в Краснодар, а мы через поле с колючими одервенелыми зарослями кинулись на старое место. Собрать костры было не проблема, но нужно еще и площадки расчистить, чтоб не устроить сплошной пожар. Когда добежали, новый сюрприз: все

поле было перепахано, и складывать костры оказалось не из чего.

До прилета самолета оставались считанные минуты. Мы начали руками выкапывать из-под земли что попало и с трудом набрали три тощих кучки. Солнце уже садилось. Понеслось шум мотора, и мы подожгли костры. Они довольно быстро прогорели, а шум не приближался, а тархтел на одном месте. Оказалось, это заработал трактор на соседнем поле.

Вот тогда-то и возник шум настоящего самолета. Он пролетел немного в стороне и затих. Мы в изнеможении опустились на землю ждать своих.

Через час приехал генерал с ротой войск НКВД и наш Сулико. Пришлось докладывать о неудаче. Роту оставили на месте, а мы уехали в штаб, где уже принимали меры к розыску агента — далеко его выбросить не могли.

Однако, последовал еще один сюрприз. В тот же вечер нам добровольно сдались три сброшенные с того самого самолета агента. Они пришли со всем снаряжением, парашютами и рацией.

Перебивая друг друга, они объясняли, где надо искать встречавших их «немецких агентов». Оказалось, эти ребята еще до заброски договорились сразу сдать. Представляю, что было бы, если б мы их принимали. Просто перестреляли бы друг друга и все.

Интересно, что же это за сила, которая распоряжается судьбами людей! Ведь все было спланировано, проиграны запасные варианты, задействованы достаточные силы, мы из кожи лезли, чтобы встретить их, а судьба разыграла самый лучший для всех вариант. Впрочем, не будем забывать, что в этой лотерее разыгрываются и худшие варианты.

Белкин даже не упрекнул меня за самовольную передачу шифровки в эфир. Если бы я этого не сделала, пропал был весь предыдущий труд по радиоигре, а станцию можно было бы забросить на чердак, да и заброску бы отменили.

Трудно поэтому сказать, какой работник лучше — самостоятельный, способный отступить от инструкций, или

пунктуальный надежный исполнитель. Думаю, оценка зависит от характера исполняемой работы, а кому что поручить — это уже искусство руководителя.

Вообще, Белкин предпочитал хвалить людей заочно. Так вышло и со мной. Он вылетел в Москву для доклада начальнику «Смерш» Абакумову и, как я позже узнала, очень хорошо обо мне отозвался, а за эту операцию предложил представить меня к награде и повышению в звании.

«Смерш» был уже выведен из структуры НКВД и вошел в структуру армии. Укомплектован он был, в основном, кадрами Третьего главного управления НКВД — внутренняя безопасность, во всяком случае я очень редко встречала там кого-нибудь из моих прежних сослуживцев. В системе «Смерш», правда, тоже занимались внутренними делами — Третье отделы, но только в отношении фронтов и войсковых частей. После войны «Смерш» был ликвидирован, а личный состав возвращен в НКВД.

Через несколько дней Белкин вернулся из Москвы на личном самолете Абакумова очень довольный. Он вызвал меня к себе.

— Этим же самолетом полетишь в Москву. Тебя вызывает Абакумов.

На разнос не похоже. Для этого личные самолеты не предоставляют. Значит, перехвалил. Через два часа я была на летном поле. К моему удивлению, экипаж поставили перед самолетом, меня в середину и несколько раз сфотографировали — до сих пор храню этот снимок. Уже потом я сообразила — страховка от подмены в пути. Раньше это часто практиковалось. Провожая меня, Михаил посоветовал:

— Ты там того... Поосторожнее...

Он хорошо знал мой характер и говорил иногда: «Тебя нельзя показывать начальству».

Самолет поднялся в воздух в сопровождении двух истребителей, которые, немного проведив нас, ушли. На всякий случай я взяла с собой кое-что из вещей — во время войны, да еще на такой работе, никогда не знаешь, когда, куда и откуда попадешь.

Михаил велел выдать мне в дорогу большой кусок сала, виноград и яблоки. Виноград в мешок не поместился и пришлось везти его в решете.

Утром мы благополучно приземлились на Тушинском аэродроме, и я городским транспортом поехала домой. У самой Красной площади решето с виноградом прорвалось. Пришлось пересыпать его в полу шинели. Навстречу генералы и полковники валом валят, а я в таком виде, что и под козырек взять неудобно. Но никто не сделал мне замечания. Выручал южный загар и мешок за плечами.

О прибытии я сразу доложила в управление, и Абакумов назначил мне прием на следующий день. Разговор происходил с глазу на глаз. Моя позиция была невыгодна тем, что я все еще терялась в догадках о причине вызова. Увольнение отпадало, а о переводе на работу в Москву беседуют на более низком уровне.

Абакумов выглядел сравнительно молодо, упитан, с холерным актерским лицом. Никакого доверия это лицо не вызывало и к откровенности не располагало. Не уловила я в нем и деловитости. Вопросы были самые банальные, и задавал он их довольно беспорядочно: образование, родители, нравится ли мне работа, когда познакомилась с Белкиным, что делала с начала войны.

Говорил он учтиво и дружелюбно, свободно откинувшись в кресле, немного рисовался и поигрывал глазами. Но сколько я ни вслушивалась, ни всматривалась, так и не смогла уловить, куда он клонит. С каждой минутой интерес к этому разговору у меня пропадал, а уверенность, что с этим человеком я не хочу иметь дела, крепла.

Что же ему все-таки надо? Было еще два варианта. Первый — послать меня с серьезным заданием за границу, второй — сделать меня личным информатором. Насчет заграницы сомнительно, потому что дважды я уже отказывалась и на более высоком уровне — это он наверняка знал. Информатором — тоже отпадало. Если б я была способна на это, то уже давно бы «информировала». Так и не сориентировалась до конца разговора. Тогда он вдруг спросил:

— Ну, хорошо. А какие у вас есть ко мне личные просьбы?

Это застало меня врасплох. Во-первых, я об этом не думала. Во-вторых, даже если бы мне что-то и нужно было, не возникло ни малейшего желания просить его о чем-то. Прошло две-три секунды.

— Спасибо, личных просьб у меня нет.

— Как? Никаких?

— Никаких.

Вероятно, он хотел попроситься, оставив меня в психологической зависимости.

— Может быть, хоть что-нибудь?

«Не умеет переключаться», — подумала я. — Нет, спасибо.

— Хорошо. Оставайтесь в Москве. На днях я вызову вас еще раз.

Следующий разговор меня беспокоил. С одной стороны, интересно было, чего он от меня хочет. С другой, если он изложит конкретное задание, увернуться уже не удастся.

Два дня я раздумывала и пришла к выводу, что доводить дело до выслушивания его предложения нельзя. Надо уходить любой ценой, иначе потом она будет значительно выше. Я позвонила начальнику секретариата полковнику Чернову:

— Прошу отправить меня обратно па фронт.

— Но ведь с вами еще будет разговаривать товарищ Абакумов.

— Передайте, пожалуйста, что я хотела бы вернуться обратно на фронт сейчас.

Несколько секунд полковник молчал. Наверно, в его практике не было случая, чтобы старший лейтенант отказывался говорить с высшим начальством.

— Хорошо, — процедил он ледяным тоном и быстро положил трубку.

На душе сразу полегчало. Похоже, что вывернулась, серьезных последствий быть не должно. До конкретного задания дело не дошло, а сам по себе такой дерзкий поступок мог быть истолкован двояко. Разговор-то происходил с глазу на глаз, а я все-таки женщина. Другой вариант, что у меня есть покровитель помощественнее.

На другой день меня вызвал начальник Управления кадров. Продержав меня в приемной четыре часа, он объявил, что я направляюсь в распоряжение райвоенкомата.

— Хорошо, — ответила я сухо. — Но вы взяли меня с фронта, и я хотела бы вернуться обратно.

— Это можно, — сказал он с готовностью.

Похоже, это было для них более подходящим вариантом. Спустя несколько лет стало известно, что Абакумов расстрелян, начальник Управления кадров осужден на двадцать пять лет, а полковник Чернов на двадцать. Не скрою, я узнала об этом с большим удовольствием, хотя понимаю, что так думать нехорошо. Конечно, иностранными шпионами они, скорее всего, не были, но врагами народа — это точно.

Получив документы, я заскочила перед отъездом к Эйтингону. Он встретил меня с явным удовольствием, и это было приятно видеть. Подробно рассказала ему мое последнее приключение. Эйтингон слушал очень внимательно, не расслабляясь при изложении мелких подробностей, но вопросов не задавал. Не спросил даже, почему я отказалась от второго разговора. Потом молчал довольно долго, не меньше минуты.

— Сейчас делать ничего не нужно. Езжайте и ждите. Я вызову вас с фронта.

Мы тепло попрощались и крепко пожали друг другу руки. Мне показалось, что он был доволен моим поведением.

Я зашла еще к жене Белкина, Ольге Ивановне. В это время там был Антон, ординарец Михаила, которого он иногда оставлял в Москве на помощь своей семье. Он тоже собирался в Краснодар, и мы поехали вместе.

Дорога была такая же — то на открытых платформах, то на крышах теплушек. Как всегда покуривали самокрутки, рассказывали анекдоты и разные небылицы. Говорили и о своих делах, но тоже, как это принято среди незнакомых офицеров, кто откуда — не секрет, а вот кто куда — ни звука. Где-то к нам подсел какой-то парень в полуфлотской полугражданской одежде, в руках авоська, в которой болталась одна единственная книга.

Когда один из офицеров сказал, что возвращается из академии, парень спросил: «А где она находится?» Офицер промолчал, и мы начали сворачивать самокрутки. Парень засуетился и широким жестом достал из кармана пачку папирос.

— Курите, угощайтесь.

Я глянула на Антона. Он сделал вид, что не видит моего взгляда, но я хорошо почувствовала, что он меня понял. Проверка документов прошла благополучно. У парня оказались бумаги из госпиталя, которые у солдат никаких подозрений не вызвали.

Поехали дальше. Чувствовалось, что попутчик чуть-чуть нервничает. На одной из остановок он спрыгнул с крыши и отошел на значительное расстояние. «Проверяется».

В Краснодаре Антон спрыгнул первым и сделал вид, что ждет меня, а я пропустила парня вперед и, спрыгнув вслед за ним, уперла ему в спину пистолет. Антон крепко ухватил его, и мы прошли в комендатуру. Выписка оказалась поддельной. Не знаю, что было дальше. Этим занимался Третий отдел.

Белкин встретил меня в приемной и сразу провел к себе.

— Я получил телеграмму уволить тебя сразу по прибытии в Краснодар.

— В распоряжение Управления кадров фронта?

— Да. Могу отправить тебя на попутной машине дня через три.

— Хорошо.

Он вышел проводить меня и уже во дворе спросил:

— Что случилось? Я дал тебе прекрасную характеристику!

— Ничего особенного. Я отказалась с ним разговаривать.

— Ты что, с ума сошла?! Почему?

Что я могла ему сказать? Да и выбора у него не было при его генеральском положении. Я молчала.

— Ну?

— Знаешь, Михаил,... поговорим об этом когда-нибудь потом.

И мы поговорили, спустя десятилетия. Тогда все уже было ясно.

В Управлении кадров фронта меня встретили вполне буднично. Писарь скользнул взглядом по пономам и спросил, ка-

кую последнюю должность я занимала. У меня была бумажка: помощник командира роты боевого обеспечения.

— Такой должности у нас нет. Принимайте роту.

— Хорошо.

Он быстро выписал направление и дал расписаться в журнале. Я взяла ручку, и вдруг он остановил меня, удивленно уставившись на руку. Потом перевел растерянный взгляд на лицо.

— Вы женщина?

— Ну, и что?

— Нет, нет, нет. Это совсем меняет дело. Сейчас доложу начальству.

Вот черт! Наверняка в какой-нибудь штаб отправят.

И отправили в распоряжение начальника Второго разведывательного управления штаба фронта Шутова. Я была далеко не в восторге. Шутова и работу его управления я знала. Они забросили однажды молодого паренька в Анапу со справкой, что он работает в железнодорожном депо, а в Анапе и железной дороги-то нету.

Конечно, его сразу сцапали, а он дал себя перевербовать и сразу явился к нам в «Смерш». Совершенно случайно на немецкой стороне из разговора в казарме он узнал, что немцы ждут заброску группы наших разведчиков из управления Шутова. Были известны даже их приметы. Наше управление должно было контролировать заброску групп Второго управления, но об этой группе нам не докладывали.

Белкин послал меня к ним задержать заброску. Меня встретил начальник отдела Соколов и довольно враждебно осведомился о цели визита.

— Вы собираетесь забросить группу, о которой не сообщили нам.

— Я указала ему некоторые подробности.

— А откуда вам известно об этой группе?

— Товарищ полковник, вам не кажется, что вы задаете лишние вопросы?

— Сообщите, что вам известно, а выпускать их или нет я сам буду решать.

— Известно достаточно, чтобы выход запретить. Я вас официально предупредила, а дальше отвечать будете сами.

Заброску отменили, но меня, конечно, запомнили.

Когда я явилась с направлением в их штаб, Шутов встретил меня очень приветливо, но никакого назначения не дал. Иметь у себя человека, приближенного к начальнику «Смерш», им не улыбалось. Надо было ожидать, что от меня постараются избавиться.

Я недолго поработала там офицером связи, и меня вернули снова в распоряжение Управления кадров. Подвозил меня до Краснодара мой бывший сослуживец Евдокименко. Рассказала ему о своих делах, ничего не скрывая. Он передал все Белкину, но тот ничем помочь пока не мог, и я оказалась в резервном офицерском корпусе.

Там я встретила человека, который фактически стал моим вторым мужем. Это был капитан Константин Георгиевич Вороненко, прибывший из госпиталя после уже шестого ранения. Но судьба скоро развела нас. У Кости открылась старая рана, и его отправили обратно в госпиталь, а меня вызвали в Москву.

Когда я написала письмо его матери, соседи ответили, что его отец арестован, а семья выслана из города, и адрес неизвестен. Я тоже жила в Москве не по своему адресу, а после войны выехала за границу. Так мы и не нашли друг друга.

Позже я узнала, что он снова пошел на фронт, командовал пехотным батальоном и говорили, что был убит.

Все же я не жалею о судьбе — у меня остался от него сын и добрые воспоминания о его отце. Артур Спрогис, мой первый муж, долго не мог мне этого простить. Когда я оказалась в Москве, он был уже на Западном фронте начальником Штаба партизанского движения Латвии; потом я уехала. Мы встретились только через много лет и оставались друзьями до его смерти.

По прибытии в Москву я позвонила Эйтингону, и он сразу принял меня. При встрече присутствовал Маклярский, который постеснялся выразить свое удивление по поводу моего прибытия.

Оказалось, в Москву меня отправили по направлению Белкина, который подписал его без согласования с Эйтингоном. Маклярский боялся, что я попаду в его отдел. Он хорошо помнил, что при организации московского подполья я категорически отказалась иметь с ним дело. «Они не имели права давать направление...» — начал было он, но Эйтингон глянул на него, слегка сузив глаза, и Маклярский осекся. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего, и все подчиненные это знали. Эйтингон приказал зачислить меня на довольствие и дал некоторое время на устройство своих дел.

Моя комната оказалась занятой подругой управдома, и ни в какие переговоры они вступать не желали. Расчет был на то, что домовые книги были сожжены, а штамп прописки в паспорте у меня не проставлен, поскольку у военнослужащих паспортов не имелось.

Тут они просчитались. По старой привычке сохранять любые документы, я уклонилась от сдачи паспорта и, вселяясь в эту комнату, подсунула его паспортистке. Та его и простамповала.

Военному прокурору этого оказалось вполне достаточно, и комнату мне вернули, правда, совершенно обчищенную. Многие вернувшиеся фронтовики были таким же образом лишены и крова, и имущества, и никто из аппаратчиков ничем не помог им, да и не хотел помочь: все было поделено. Из Ташкента вернулся с интернатом мой племянник, скоро должны были вернуться из эвакуации и родители.

Месяца через два — начался уже сорок четвертый год — меня вызвал Эйтингон и спросил, как я отнесусь к заданию, связанному с отъездом на длительное время. Я была готова, но пришлось признаться, что я на пятом месяце беременности.

— Нет, — сказал он. — Там у нас родильных домов нет.

— Ну, и что? Есть родильные дома или нет, а дети все равно рождаются. ..

— Нет, — повторил Эйтингон и положил ладонь на стол, — Выведем вас в резерв, рожайте, а там посмотрим.

В резерве мне сохранялся бесплатный офицерский паек и половина зарплаты. Это было неплохо, но недостаточно, учи-

тывая, что содержать надо было четырех человек: двое детей и родители. Пенсия отца была очень небольшой, мать пенсию вообще не получала, ничего не платили и на племянника, поскольку из фронтовой зоны он прибыл без документов.

К тому же мы остались без обстановки, без посуды и без одежды. Жизнь, таким образом, начиналась с нуля.

Не могу сказать, что я была подавлена или растеряна. Видала я положения и похуже, когда фронтовики оставались и без родных, и без крыши над головой, и офицеров с орденами и с протянутой рукой видела. «Благодарные соотечественники» встречали нас далеко не так, как это принято показывать.

Устроилась я в «Москниготорг» товароведом антикварных книг на иностранных языках. И тут мне тоже повезло с наставником: я работала со старейшим известным букинистом Михаилом Васильевичем Кучумовым. С ним советовались крупные коллекционеры, профессора и академики.

Он начал работать с книгами с десяти лет мальчиком на побегушках. Но теперь это был старый и почти слепой человек. Иногда он просил дать ему книгу в руки и узнавал старые переплеты на ощупь, а рассказывал он об известных книгах подробнее любого справочника.

Работая в таком людном месте, я нередко встречала знакомых, но не все встречи были веселыми. Однажды просунулась рука с потрепанным англо-русским словарем. Черные, давно не мытые пальцы, обшлаг потрепанной шинели. Я узнала Колю Зайцева, с которым мы учились в институте иностранных языков, а на выпускном вечере танцевали вальс. Тогда он был шустрым веселым пареньком с озорными серыми глазами. Теперь взгляд был хмурым и жестким, желтоватое лицо не брито, на лбу большая впадина со шрамом. Жена не дождалась его возвращения с фронта, и он поселился у сестры, тоже оставшейся одной с ребенком. Видно, что продавать ему было уже нечего.

Иногда я заходила в Управление и однажды встретила там Кирилла Орловского, товарища Артура по партизанской работе двадцатых годов в Западной Украине и Белоруссии. Последний раз мы виделись с ним в Испании, когда

он вернулся с Гвадаррамы после подрыва моста. Эту операцию описал Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол», заменив Орловского американцем Робертом Джорданом.

Его вид меня опечалил. У него были оторваны кисти обеих рук, только на одной остался большой палец, вдобавок от взрыва он почти оглох.

Когда я вошла, зазвонил телефон, и какая-то женщина поднесла к его уху трубку. Может быть, ее только для этого там и держали. Кирилл был уже полковником и получил звание Героя Советского Союза. Жил он в хорошей квартире с женой и двумя дочками и получал повышенную пенсию, но с работы не уходил.

После войны он бросил московскую квартиру и уехал в Белоруссию, где стал председателем колхоза. Он вывел хозяйство в колхозы-миллионеры, получил звание Героя Социалистического труда, стал членом Верховного Совета и кандидатом в члены ЦК КПСС.

Закончив телефонный разговор, Кирилл увидел меня, заулыбался и стал кричать: «А где Артур? Артур жив?» Я стала кивать и тоже улыбалась ему, как старому другу.

На работу я ходила в старой шинели и остатках обмундирования.

Потом Эйтингон приказал выдать мне со склада кое-что из самого необходимого, а в шинели стал ходить в школу мой племянник. Но тогда многие бедствовали.

Некоторые дети ходили в школу босиком, а зимой в каких-то обмотках. Однажды в школе выдали ботинки для детей, оставшихся без родителей — по одной паре на класс. Моему племяннику они не достались, потому что у него все-таки была тетя.

Когда родился мой сын Леня, я вынула из стола ящик, положила в него подушку и поместила туда ребенка. А позже, когда он немного подрос, переселила его в чемодан, оторвав на всякий случай крышку, она могла захлопнуться.

Из Управления мне принесли прямо-таки сказочный подарок: набор пеленок, распашонок, теплое одеяльце и два чепчика — все новенькое. Пришли поздравлять сослуживцы

из отдела. Один из них, посмотрев на младенца, сказал: «Будет настоящий мужчина, ярко выраженный характер».

Отопление еще не действовало, но были рады, что хоть вода есть. Обогревала нас маленькая железная печка, стоявшая у окна. Однажды она начала падать, и чтобы труба не упала на ребенка, пришлось придержать ее рукой. Потом всю ночь я держала руку в банке с раствором марганцовки. Старшего мальчика я мыла на общей кухне в корыте, где все соседи по очереди стирали белье.

В комнате напротив меня жила солдатская вдова Лиза Хохлова. У нее осталось трое маленьких детей. Никакой пенсии за погибшего мужа она не получала, потому что была трудоспособной, а на детей платили тридцать рублей в месяц, то есть одну двадцатую часть зарплаты. Она работала на картофельном складе и подрабатывала там же переборкой картофеля.

Лиза была вечно простужена оттого, что прятала на груди под телогрейкой мороженую картошку, которую приносила домой детям, дети ее были не только худые, но буквально какие-то синенькие.

Учились они плохо. Когда младший пошел в первый класс, я пыталась объяснить ему, что два плюс два четыре. Он никак не мог этого понять. Я уж и на пальцах, и на спичках показывала. В конце концов он расплакался, и я чуть не заплакала вместе с ним...

На паек я получала полтора килограмма мяса в месяц, зато хлеба давали по девятьсот грамм в день. Делилась им с Лизой, а мяса и самим не хватало. Как-то сварила суп и разделила мясо с племянником. Вернее, ему положила мясо, а себе взяла кусок сухожилия. Разжевать мне его так и не удалось. Мальчик внимательно наблюдал за моими мучениями, и когда понял, что я с этой жилой не справлюсь, попросил:

— Тетя Лиза, дайте ее мне...

Он зажмурился и усилием проглотил ее целиком. Даже на глазах слезы выступили... Еще мне выдавали по пачке папирос на день, и я носила их на базар, где обменивала на молоко или продавала. Милиционер задержал меня как спекулянтку и отвел в милицию.

— Вы продавали папиросы?

— Продавала.

— Так, спекуляция!

— Нет, это мой паек. Что ж вы хотите, чтобы я их выку- ривала, когда детей кормить нечем?

— Знаете, что это запрещено?

— Знаю.

— Ладно, идите. И чтобы в следующий раз...

— Буду продавать и в следующий раз! — Сгребла со стола отобранные у меня папиросы и деньги и вышла. Ни дежур- ный, ни милиционеры не сказали при этом ни слова. Они тоже только-только вышли из войны.

Как-то летним днем я случайно встретила на улице Бел- кина. Он проезжал мимо и, заметив меня, велел шоферу остановиться. Мы немного поболтали, он дал мне свой адрес и взял обещание на днях зайти. О своих трудностях я ему ничего не сказала, потому что после войны генералы стоя- ли уже на совершенно другой ступени социальной лестницы. Сказала только, что работаю, о муже вестей нет.

Через некоторое время я позвонила Ольге и договори- лась, что зайду к ним в середине дня. Детей кормить не стала:

— Сегодня будем обедать у генерала!

Михаил и Ольга были очень рады. Мы говорили об об- щих друзьях, о новостях, об аресте отца Полины Неद्याлко- вой, который был членом ЦК компартии Болгарии. Михаил в это время брился, время от времени поворачивая ко мне намыленную щеку, а Ольга перебирала туфли для выхода. Пока мы разговаривали, Леня разревелся.

— Что он плачет? — забеспокоилась Ольга и протянула ему маленькое зеленое яблоко.

Я, конечно, не разрешила есть эту кислятину на пустой желудок. Видимо, такие проблемы уже не могли прийти им в голову. Недаром существует поговорка: «Сытый голодно- го не разумеет».

— Мы сейчас едем в «Эрмитаж» и подбросим тебя с деть- ми до дома. Ты уж извини... — Михаил виновато покосился на меня, натирая щеки одеколоном.

Конечно, мы продолжали оставаться друзьями, но больше я к ним не приходила. Других старых друзей разыскивать не пыталась. Многие были еще в войсках, в основном, за границей, многие поменяли адреса, многие из друзей по Испании были арестованы, а некоторые и расстреляны.

В книжном магазине, где я работала, тоже бывали неприятности. Директором его был человек невежественный и грубоватый. Был случай, когда кто-то принес на продажу первое французское издание Мольера. Кучумов был очень взволнован и долго держал в руках четыре старинных тома, цену он поставил значительно меньше их подлинной стоимости, но очень высокую по сравнению с обычными ценами — это была вся наличность, имевшаяся в нашей кассе. Директор тут же вмешался и сказал грубовато:

— Знаем мы, как приятелям деньги подбрасывают!

Хозяин книг унес их, а через некоторое время я увидела в газете сообщение, что первое издание Мольера было продано на аукционе за полтора миллиона франков. Сунула газету в нос директору и высказала все, что по этому поводу думаю.

И все же, несмотря на частые стычки с начальством, на мое шестидесятилетие пришли почти все бывшие мои начальники: Артур Спрогис, Белкин с Ольгой, Эйтингон с женой, тоже Ольгой. Пришли и из института, в котором я последнее время работала.

Особенно часто друзья собирались у меня в последние годы жизни. Умерли почти все как-то сразу, в один год — во второй половине восьмидесятых и первой половине восьмидесят первого...

Итак, со дня окончания войны прошел год. Скорее всего, он был потруднее лет военных, хотя разницы большой нет: трудно или очень трудно, или трудно, но не очень...

В последний военный год мать варила варенье из кормовой свеклы, пекла оладьи из хлебных крошек, сметенных с прилавка булочной, а дров давали так мало, что печь была почти всегда холодной, и парализованный отец почти не высывался из-под одеяла.

Так я встретила День Победы.

о. Владимир Зелинский

## О музыке и смерти

Присутствие Блока начинается во мне с невольной пушкинской ноты, с отзвука «веселого имени» или ритма, незначай просыпающегося в памяти и дыхании. Гармония в истоке своем кажется упругой и нерасчленимой, и самое сокровенное в ней есть всегда и самое близкое.

Судьба и тема одного поэта могут преломиться в звучании другого, словно выплыть из гармонической глубины. Нередко я пытаюсь разгадать их в каком-нибудь наступающем мотиве:

*Не дай мне Бог сойти с ума.  
Нет, лучше посох и сума;  
Нет, лучше труд и глад.  
Не то, чтоб разумом моим  
Я дорожил; не то, чтоб с ним  
Расстаться был не рад:  
Когда б оставили меня  
На воле, как бы дерзко я  
Пустился в тёмный лес!  
Я пел бы в пламенном бреду,  
Я забывался бы в чадю  
Нестройных, чудных грёз.  
И я б заслушивался волн,  
И я глядел бы счастья полн,  
В пустые небеса.*

*И силен, волен был бы я,  
Как вихорь, роющий поля,  
Ломающий леса;*

*Да вот беда: сойди с ума,  
И страшен будешь как чума  
Как раз тебя запрут,  
Посадят на цепь дурака,  
И сквозь решётку как зверка  
Дразнить тебя придут.*

*А ночью слышать буду я  
Не голос яркий соловья,  
Не шум глухой дубров —  
А крик товарищей моих  
Да брань зрителей ночных,  
Да визг, да звон оков.*

В пушкинской поэзии и, может быть, только в ней существует эта завершенная незримая слаженность породивших ее стихий. Между той областью, где стихи пребывают еще в нераскрытом, расплавленном виде, и той, где они облекаются в речевые потоки, где они воздвигаются ремеслом и застывают в культуре, нет не только противостояния, нет и трещины, шва.

Мы не отыщем здесь концов, уводящих в неосязаемое или рукотворное, и, куда бы мы ни пошли, к космосу или логосу, мы встретим то, что называется гармонией, и означает воплощенную человечность.

По мысли Блока, гармония соединяет в себе разнородные стихии — слова и звуки — и лишь чудом они могут полностью слиться.

Но чудо всегда единственно; и чаще звуковые волны не *находят* нужных слов, словам не хватает звуковой влаги, корни и смыслы их как бы не достают до подземного тока музыки; само совершенство их докучно и немо.

У Блока иное: его стихи еще слишком тесно прилегают к «пламенному бреду», они как бы еще не вполне обособились от той музыки, что вынесла их к слову; к ним пристали

отголоски нездешней речи, их населяют те туманно-болотно-предраассветные существа, что странно смотрятся в *человеческом* мире.

«Его стих был не камень, — говорит Чуковский в «Книге об Александре Блоке», — но жидкость, текущая гласными звуками». «Они (стихи) — повторяет тот же критик слова Шекспира, — «из того вещества, из которого сделаны сны.»

Эти сны застигнуты поэтом в момент их наивысшей ясности и наибольшей власти над душой. Они открыты и облечены в стихи, те пристанища русской речи, кровом которых мы *привыкли* пользоваться случайно, сентиментально и без мысли о благодарности. Сама жизнь поэта есть одно из таких пристанищ, запросто обживаемых во всяком читательском воображении.

Жизнь и поэзия Блока настезь распахнуты — «здесь ресторан как храмы светел, и храм открыт, как ресторан». Жизнь каждого стихотворения всегда доступна и недосяжима — «как тайна приоткрытой двери в кумирню золотого сна». Попробуем — вслед за гуляками, богомольцами, усердными работниками поэтических музеев — еще раз подойти к этой тайне, отыскать отражения ее в пушкинском слове...

Блок дорог мне более всего совсем не мистический, не изысканный, не петербургский, не ресторанным-скрипичный Блок «с каменным лицом красавца и поэта» (Бунин), а *уже* как бы бывший — «писать стихи забывший Блок», все существенное уже написавший, все понявший, обреченный, оглушенный, прикованный к «бессмыслице заседаний», «обтянутый паутиной» (свидетельства очевидцев), тянущийся только к смерти и замедливший перед ней лишь за тем, чтобы напоследок вольно попрощаться с искусством, Пушкиным, Россией, самим собой.

С того знаменитого прощания мы и начнем наш путь к Блоку.

## II

Его речь «О назначении поэта», произнесенная в последний год жизни и посвященная Пушкину, звучит ностальгически. Когда-то Блок предчувствовал гибель отчизны своей вселенной. Предчувствие это сбывается: звуковая отчизна умирает в нем самом. Те же бездны и видения вызываются этой речью — хаос, космос, безначальный туман, устроенная гармония — и та же терпкая блоковская прямота в рассказе о них. Но Блока там уже нет. Собственный мир он видит как бы с другого берега, по контрасту с оставленным. И слова его ясны и смелы.

«На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир.

Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей...»

Ныне она заслонена и от него.

«Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!» (Пушкин) — она ведет свое происхождение от тех же волн, что объемлют вселенную, воздвигают горы, управляют мировой жизнью, «состоящей в непрестанном созидании новых видов, новых пород...»

«Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать форму; в-третьих, — внести эту гармонию во внешний мир.»

В первом деле своем поэт — медиум, духовидец;  
во втором — он — мастер, мастерской своего таланта;  
в третьем — литератор, окруженный чернью.

Ибо чернь господствует в том внешнем мире, куда вносится гармония. Она, как водится, озабочена лишь пользой. Разговор о поэзии редко обходится без поношения какой-либо черни. Она попирается в духе классицизма: поэт рассеянно бряцает на лире, а тупая чернь требует от него пользы и поучений.

Она презирается романтически: душа, замороженная звездами, не желает слышать того, что кругом «о злате иль о хлебе народы шумныс кричат». Она обличается социологически и нравственно, и для Блока, следующего теперь хорошо протоптанной и неподкупно-демократической *традициями*, всякая чернь непременно «светская» — скажем, остряки в котелках, жеребцы-кавалергарды, чиновники из жандармско-цензурного ведомства.

Но какой бы ни *видел* поэт свою чернь и куда бы ни помещал ее, он воспринимает ее как некую противоположность поэзии. Внешний мир, где поэт по заданиям черни должен «просвещать сердца собратьев» или «сметать сор с улиц», всегда бесконечно далек от безначального «родимого хаоса», откуда посылаются ему звуковые волны...

*Когда б оставили меня  
На воле! Как бы дерзко я  
Пустился в тёмный лес...*

Но поэт не только тоскует о символическом бегстве от черни и не всегда рвется прочь от нее. Изредка, в моменты какого-то опьянения земли, когда сдвигаются породы, когда ритмические колебания, идущие из темных недр, передаются обществу и государству, поэту кажется, что из глубин хаоса хлынула сама поэзия.

И тогда — к ужасу друзей и посвященных в таинства *прежнего* его искусства — он неожиданно братается с чернью, он ищет разделить с нею три главных дела своих. Не лес и не роющий поля ветер становятся теперь зримыми выразителями стихии, но запорошенные метелями улицы и люди на них. Отсюда поэт черпает звуки и слова, которые он преобразует в гармонию.

«Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни.» Для возникновения гармонии нужно, чтобы «подня-

тый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова...»

Потом опьянение спадает, и поэт еще острее, чем раньше, начинает тяготиться окружением черни. Но гармония, созданная в момент недолгого упоительного братства со стихией, остается.

Ведает ли поэт какую-то общую меру между жизнью стихии, звуками из глубины и организованной мастерством человеческой речью? Есть ли именно это гармония, облечение плотью — словами, звуками, красками чего-то хаотического, донесшегося из глубинных волн?

Мы вправе предположить, внимая размышлениям Блока, что слух поэта может различить в этой подспудной мировой стихии какой-то внятный нам, обращенный к человеческому миру музыкальный строй и, более того, — какой-то замысел, вложенный в эту стихию, может быть, ее направляющий.

Вероятно, человек с сердцем менее музыкальным, прочнее защищенным от стихий, но более чутким к замыслу, ими повелевающему, был бы более озабочен его *истинностью*, его соответствием Первообразу всякого смысла, но поэт целиком поглощен своим «вслушиванием», своим посредничеством *между* хаосом и воздвигаемым им космосом.

Притяжение хаоса неодолимо, музыкальная власть его завораживающа, и тому, кто изведal ее на себе, не чужд должен быть и соблазн навсегда с ней остаться, раствориться в блаженной стихии, заслоненной для черни «явлениями внешнего мира».

*Я пел бы в пламенном бреду,  
Я забывался бы в чаду  
Нестройных чудных грёз.*

Манящую даль бреда поэт готов признать своей страной. Искушение навеки туда вернуться никогда не оставляет его. Ибо только там может он вполне исполнить свое призвание. Здесь же достигается оно чаще всего вопреки требованиям черни, в отречении от срединного общечеловеческого мира с его «пользой» и пошлостью и достигается тайно.

*Тайно сердце просит гибели,  
Сердце легкое, с к о л ь з и ...»*

«Снежная Маска»

Почему «тайно»? Да потому, что самое таинственное, не-сказанное — и в этом поэт, конечно, не может себе не признаваться — то, что стихия грез, «пламенного бреда», катящихся «звуковых волн», безначального «родимого хаоса» есть стихия гибельная, притягивающая не только музыкой, но и смертью, и даже делающая их обе — музыку и смерть — равно повинными в рождении гармонии...

### III

Всякий поэт постоянно оборачивается и вглядывается в то, что он делает. Блок при всей его медиумической настроенности на восприятие лучей и звуков «оттуда» (из *не названной* пока страны) более, чем кто-либо, был заморожен истоком своей поэзии. Самым точным, частым, устойчивым указанием на этот исток стало в его словаре слово «музыка».

«Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего... Каждый оркестровый момент есть изображение системы звездных систем — во всем ее мгновенном многообразии и *текущем...* (так у Блока).

Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира... Дойдя до предела своего, поэзия, вероятно, утонет в музыке.»

Мысли эти были вызваны впечатлениями от музыкальной драмы Вагнера. Запись в Записной Книжке (1909) начинается словами: «Вагнер в Наугейме — нечто вполне невыразимое: напоминает.»

Анамнезис — слово, которым Платон обозначает воспоминание об истине, некогда сопричастной человеку, но *затем* утраченной. Воспоминание даруется смертью, но может быть даровано и философией, задача которой — научить умирать.

То, что понимал под философией Платон, близко к тому, что мы понимаем под поэзией. Он относит философию к «мусическим искусствам», а философов в диалоге «Федон» называет «вакхантами». Истина окончательно открывается лишь в смерти, и потому умирать и предаваться воспоминанию и познанию — в «мусическом», музыкальном истоке своем — не есть ли одно и то же?

Музыкальное воспоминание лежит за строчками многих стихотворений Блока. Ритм, в них вложенный, достигает своей колдующей силы тем, что доносит до нас голос не воспринимаемой нашим слухом, но обступающей нас стихии. Поэт связует нас с нею, ей повинуюсь. Повиновение ей составляет блаженную волю, «тайную свободу» его. «Духовное тело мира» он одевает осязаемой, зримой, речевой гармонией.

Только в «тайной свободе», означающей и пленение темной стихией и одновременно — благословенное исполнение «замыслов Зодчего», совершается таинственное — «первое дело» его — обнажение покровов, освобождение звуков. Ритмический рисунок стихотворения при этом предопределяет и созревание смыслов.

Ритм и смысл у Блока — два полюса одного звукового поля. Всякое стихотворение для него — «покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Изза них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста.

В самом темном стихотворении не блещут эти темные слова, оно *питается* не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено...» (По К. Мочульскому «Александр Блок»).

Но даже и там, где слова светлы, где значения их прочны и прозрачны, где они укреплены притяжением земных реалий, даже и там за видимым текстом стихотворения ощущается недалекий прибор «темной музыки», «бредовой» стихии, и самый текст то и дело заливают волны его.

Это не просто подтекст, это внутренний звуковой строй — анамнезис — который выбрасывает на поверхность

свои смыслы, свои образы или тревожно, властно заставляет угадывать их. Вдохновения Блока, то скользящие, то несомые кем-то, как будто выводят вовне глухую, затаенную музыку мира, освобождая ее из оков, чтобы выразить ее бег из хаоса к гармонии, а из гармонии к гибели, в родное лоно...

И потому в стихах Блока не иссякает движение — не умолкают ветры, не стихают метели, а в ресторанах его — «и скрипки, тая и слабея, сдаются бешеным смычкам».

Даже в исторической дали — при воспоминании о битве с татарами на поле Куликовом, воспоминании, оттолкнувшемся от лениво раскинувшейся реки и грустящих стогов, из ритмического потока, из музыкального тайника стихотворения вырывается вдруг проносщаяся сквозь кровь и пыль степная кобылица, и этот древний бег ее передает собой все беспокойство, весь строй и дух блоковской звуковой памяти...

На поле Куликово приводит Блока музыкальная память о России. Но в соприкосновении с историей она становится пророческой, ибо обращена к будущему. В отшумевшей когда-то битве он слышит отклики битвы грядущей. Но уже там, в «Руси далече», в глубине памяти начинает для Блока двоиться образ России, и два разных голоса ее то перебивают друг друга, то сливаются в один.

Родина кличет его издали — «за туманной рекой», но «стрела татарской древней воли» пронзила его душу, и она томится странным притяжением пожара и гибели.

Музыка и смерть, темный огонь и молитва смешались в его стихах, и вой «вековой тоски» заглушает светлый оклик «издали». «Дух беспокойства и мятежа поэт уже прочно связал с татарской стихией. Это против него бросает он свое последнее заклятие: «Молись!» Но до конца остается темным: когда настанет час последней битвы..., в чьем он будет стане, в русском или татарском?» (Г. Федотов. «На поле Куликовом».)

Но вот — иная Русь и пейзаж иной, грубо прозаический. Петербургская окраина, ипподром, «толпа зевак и модниц» и на их глазах — внезапная смерть жокея. Иной ритм, иной слог, иной бег, но дух музыки, отзвук памяти поэта — прежний,

древний. Смысловое соприкосновение воли и смерти, ритмическое постижение стихии и гибели, их музыкальный союз...

*Так хорошо и вольно умереть.  
 Всю жизнь скакал — с одной упорной мыслью,  
 Чтоб первым доскакать. И на скаку  
 Затнулась запылавшаяся лошадь,  
 И утлые взмахнулись стремена,  
 И полетел, отброшенный толчком...  
 Ударился затылком о родную,  
 Весеннюю, приветливую землю,  
 И в этот миг в мозгу прошли все мысли,  
 Единственные, нужные. Прошли —  
 И умерли...  
 Так хорошо и вольно.*

«Вольные мысли»

Блок — не посторонний зритель этой смерти. Он — тайный и страстный соучастник ее. Он прозревает в ней внезапное постижение искомого ритма, к которому всю жизнь спешил, блаженное озарение истиной, — анамнезис — и мгновенный конец. И передается — даже сквозь трезвые мысли и размеренные строки — как манит его эта вспыхивающая на миг и гаснущая бездна, как музыкально умирать в ней — «так хорошо и вольпо».

И мгновенные мысли — «единственные, нужные» — словно обещают и подсказывают Блоку его последнее стихотворение, стихотворение-смерть. И все же он только зритель пока, мечтатель, поэт. Смерть-музыка проносится где-то мимо. Он может лишь издали смотреть на нее с «улыбкой рассудительной». До времени он может лишь ностальгически тянуться к ней, бродить и весело тосковать в ее поэтических окрестностях «и песни петь! И слушать в мире ветер!»

*И силен, волен был бы я,  
 Как вихорь, роющий поля...*

«Люблю я только искусство, детей и смерть», — говорит Блок в одном из писем к матери (1909 г.)

Двумя годами ранее он пишет Андрею Белому после несостоявшейся дуэли с ним: «Драма моего мирозерцания (до

трагедии я не дорос) состоит в том, что я — лирик. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь, и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа, я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.»

#### IV

Блоковедение едва ли заглядывало в блоковскую бездну; в критике как-то не приняты путешествия такого рода. Но если, следуя допущению апостола Павла о человеке, мы и в произведении искусства попытаемся различить тело, душу и дух, то обычные суждения наши нечасто распространяются дальше телесной стороны произведения, его плоти.

О прочем же пространно или лапидарно мы чаще всего можем высказать лишь поношенную, хотя и не линяющую истину, что чужая душа, мол, потемки. О духе же и вовсе не смеем судить.

Нерешительность эта, конечно, не исключает нашей лирической готовности запросто поболтать на мистические темы с привлечением всех аксессуаров запредельного: демонов, серафимов.

Но мы, как правило, избегаем ответственных и точных слов о духовной сути художественных творений, о соотношении их с реальностью, стоящей за ними и их превосходящей.

Вот почему так дерзновенно и остро звучит всякое слово «власть имеющего» к различению духов. Таким словом прозвучал опубликованный сравнительно недавно импровизированный доклад священника Павла Флоренского «О Блоке»<sup>1</sup>. По сути, доклад этот явился одним из первых и весьма радикальных опытов того, что может быть названо «богословием искусства» на русской почве.

---

<sup>1</sup> «Вестник РХД» № 114.

Но богословие означает здесь — суд. Священник от лица культа судит поэта, деятеля культуры. И суд его правый, скорый и немилостивый. Предпосылка его проста и неумолима: культура может быть правильно понята только в рамках строго-монистической системы, правомочной оценивать культуру.

«Мир расколот религиозным принципом: антитезис марксизму — только христианство (то есть православие), религия человекобожия — религия богочеловечества.» С православной точки зрения, истоки тем культуры должны быть найдены в тематике культа, то есть в богослужении. «Творчество культуры, от культа оторвавшееся, по существу — ПАРОДИЙНО.

Пародийность предполагает перемену знака, при тождестве тем.»

Итак, «пародия» — вот слово, что должно послужить ключом ко всей поэзии Блока. Блок великий поэт в силу того, что он — подлинный мистик, ибо говорит он о подлинной реальности. Потому что «и слов кощунственных творец» есть уже поэт значительный, ибо кощунственные слова — неправда сказанная о Правде; «кощунство всерьез» обязывает быть причастным глубине, предполагает укорененность в глубинах сатанинских.»

И остается только подобрать примеры.

*Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть.  
Есть проклятье заветов священных,  
Поругание счастья есть.*

То, что некогда явилось открытием, ныне спонтанно становится едва ли не общим местом. Так стихотворение «К Музе» оказалось судимо и в статье Наума Коржавина «Игра с дьяволом» («Грани»). Но здесь за процессом, где слово предоставлялось лишь прокурору, чувствуется внутренняя тяжеба: ты, мол, учил меня плохому, а я был юношей и в сладких звуках проглатывал вредное содержание.

Впрочем, расчет расчетом; всякий поэт, чтобы стать самим собой, должен освободиться от магии другого. Пусть это де-

ляется грубовато, но есть здесь и «доводы сердца». Приговор Коржавина почти запальчив, приговор Флоренского почти холоден. Блок — посланник дьявола в русской поэзии.

Не он ли сам говорил о «черном аде искусства» («О современном состоянии русского символизма»), о «гибкой, лукавой, коварной лирике» («О драме»)? Не он ли страдал приступами «изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, и кончается буйством и кощунством» («Ирония»)? Не он ли ощущал в себе «переливание тех демонических сил, которые стергут поэта и скоро на него кинутся»? («Судьба Аполлона Григорьева»). И не оттого ли — неосуществимые мечты о бегстве из искусства, о полном отказе от литературного заработка? «Нет, лучше труд и глад...»

Стало быть, приговор, запальчив он или холоден, в сущности, справедлив, и музыка, воспринимаемая на бездонных глубинах духа, есть только обращаемая в гармонию воля к смерти? И звуковые волны несут лишь соблазн, и та глубина, «где человек перестает быть человеком», есть лишь сатанинская бездна, куда проваливается поэт, убежавший от черни? А «дух музыки», к коему так упорно и странно взывал Блок в последние годы жизни, есть попросту бес поэзии?

Мы не можем уклониться от этих выводов, додумывая до конца идеи о Павла Флоренского. «Все в мире четко, потому что четно.» Поэт — искажитель культа, шут, осквернитель. Вестник ада. И только.

Богословие ищет понимания человека и всего человеческого в луче молитвенного мышления, «умной молитвы», богословие мыслит, следуя слову апостола Павла: «Стану молиться духом, стану молиться и умом»; богословие находит верное слово о Боге, исходя из сотворенного Им, и Слова Бога о людях и их творениях.

Таким и было мышление о Павла Флоренского. Как мистик он прав, и взгляд его точен. Культура произошла от куль-

та, и священнослужитель, иерей-мыслитель *не только* вправе, но и призван судить о плодах культуры. Однако в его понимании Блока, в его приговоре ему, сделаны как будто два существенных упущения.

Из системы его (ибо несмотря на фрагментарность доклада, мышление о. Павла и здесь развернуто и систематично) ускользнула прежде всего собственная природа поэзии и отчасти даже природа тех духов, которым блоковская поэзия дает выговориться.

И потому явление и даже отчасти суть поэзии Блока описывается им цитатой из преп. Максима:

«Когда злой дух прелести приближается к человеку, то *возмущает* ум его, делает диким, сердце ожесточает и омрачает, надевает боязнь, и страх, и гордость, очи извращает, мозг тревожит, все тело в трепетание приводит, призрачно перед очами показывает, свет не светлый и чистый, а красноватый, ум делает иступленным и бесноватым и уста заставляют говорить слова непокорливые и хульные.»

Куда уйти, где скрыться поэзии Блока с ее музыкой смерти и притяжением гибели от жала этих слов? Да пощадят ли они и нас, читателей Блока?

О дьяволе сказано было фарисеям: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи.» (От Иоанна, глава 8).

Зло до того, как налиться ему силой, закрывается обманом. И это не форма его, но суть. Ложь и пафос человекоубийства и до сего дня остаются характернейшими признаками дьявольщины. И потому правдивое и дьявольское просто не могут уживаться мирно в одной душе. И как душа, коснувшаяся преисподних углей, может сохранять в себе обыкновенную человеческую честность и прямоту?

«Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.» (В. Ф. Ходасевич. «Некрополь»). Это было главной чертой его лич-

ности — необыкновенное бесстрашие правды.» (Чуковский). И много подобных свидетельств.

И более того: за бесстрашием вполне человеческим стояло еще и другое: то, что можно было бы назвать «честностью слова», правдивостью самой его речи. Блоковское слово, и в прозе, и в стихах, не лукаво, не театрално, не выражено. Оно чуждо даже той непринужденной игры, которая столь естественна у поэтов, тем более у поэтов его поколения. Он писал о масках, но сам никогда не скрывал своего лица.

Теперь кажется странным, что когда-то его называли декадентом и даже вождем декадентов; никакой упадочной изломанности у него нет. Что-то было изломанное в блоковском времени, но не в самом Блоке. И если его стихи нам непонятны, это значит, что мы стоим вне того опыта, о котором они говорят.

Но мы можем быть уверены, что это подлинный опыт, не подмененный каким-либо невинным мистическим или поэтическим притворством.

В эпоху, столь богатую на всякого рода вымыслы и подмены, Блок оставался верен той правде, которая музыкально посылалась ему. В нем не было никогда никакого — ни живописнейшего, ни невиннейшего вранья.

На поверхности жизни мы всех воспринимаем по отдельности: стихотворца, политика, мистика, влюбленного. Но на глубине они едины. «Необыкновенное бесстрашие правды» не соединяется в одном сердце ни с поэтическим криводушием, ни с художественным лукавством. Оно неотделимо от правдивости и бесстрашия всякого слова поэзии, от подлинности того, чему служит поэт, от неложности самого служения.

Поэт — «человек, называющий все по имени», — ибо настоящие имена вещей как бы скрыты от нас, — «отнимающий» аромат у живого цветка», — ибо он должен вдохнуть его в слово и сделать его навсегда благоуханным.

«Бесстрашие правды» — нелукавость слова — подлинность имен, коими одаряет поэт — все это нерасчленимо и музыкально, благоуханно и единственно связано.

«...может быть, только гений говорит правду; только правда, как бы она ни была тяжела, легка — «легкое бремя».» (Из Дневника).

Легкое это бремя несет на себе блоковская поэзия; музыка ее легка, правда ее музыкальна. Только правдой и незащищенностью сердца может отвечать поэт перед богословским или иным человеческим судом. «Правду, исчезнувшую из русской жизни, — возвращать н а ш е д е л о», — записывает Блок в том же Дневнике. Дело это и составляет его призвание, и складывается оно в единстве «обнажения покровов», «принятия звуков в душу» и «внесения гармонии в мир». Возвращение правды миру — в этом и состоит назначение поэта.

## V

Что знаем мы ныне о богословии языка? Исповедуя веру в Бога-Слово, мы повседневную нашу речь равнодушно принимаем за обмен условными знаками. Мы покорили язык суете и рабству, сделали его выражением нашей земной человеческой страды и маяты. «Исходящее из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека.» (От Матфея, глава 15).

Мир осквернен прежде всего человеческой речью, используемой для обмана, захвата, порабощения и раздора. Пафос человекоубийства облекается в лживую речь и обещает неслыханную свободу и невиданное процветание личности.

То, что исходит из наших уст, обязывает нас к покорности миру, притягивает нас к «низу», к затемненности и закрытости бытия, не воспринимаемой обыденным нашим зрением. Язык, на котором мы привыкли говорить, в той же мере затронут грехопадением, как и разум, которым мы мыслим, как и общество, в котором мы живем.

Нам незачем искать социальных или иных определений черни, коль скоро мы сами существуем в мире, зачерненном грехом, коль скоро мы пишем и говорим начерно, тусклыми, вымоченными словами, и коль скоро черновую нашу речь мы привычно считаем единственной и естественной.

В своей пушкинской речи Блок называет чернью и тех, «кто не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре...»

Служат — но не обязательно в должности цензоров, бывает, что и в роли поэтов. Ибо в мире, где поэт иногда ищет спастись безумием, здравомыслящие люди производят тем временем вчерне-поэзию — нехитрую болтушку ритмических эмоций, лубочное рифмословие чиновного сословия, затейливую речь-газировку, пропускаемую через миллионы глаз и душ, своего рода шипучку с сиропом, приготовленную из безвкусного настоя нашей замороченной жизни, и отстоящую от поэзии в блоковском смысле гораздо дальше, чем от спорта и кинопромышленности.

Но тщетно предполагать, что поэзия-набело всегда есть нечто сублимированное, весьма приподнятое над жизнью, что она — только редкость, если не роскошь для наших душевных трат, уникальная культурная ценность, которую мы готовы почтить вниманием, подобным тому, которое городские власти оказывают официальным бронзовым классикам, поднося им регулярные цветы от имени символизируемой читательской массы...

Что же такое «чернь»? Мы все, говорящие зачерненной речью. А поэзия? Очищение слова ради скрытой в нем и сотворенной для этого слова правды. Но не все ли мы становимся поэтами, когда входим в поэзию и породняемся с правдой, поэзией выявленной?

«Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. «Слова поэта суть уже его дела.» Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудях человеческого шлака; может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек»...» («О назначении поэта»).

«Приведенные в гармонию звуки» есть поэзия. И она же есть особая весть о том, что «мир волшебен и человек свободен» («О современном состоянии русского символизма»), что «мир прекрасен – втайне» (Из писем). Мир распахивается гармонией, и мы узнаем в нем ту целиком поглощающую нас истину, ради которой мы пробирались через хлам и шлак в самих себе. В одной из книг мне встретилось размышление о рае, которое автор, не обинуясь, иногда относит и к поэзии. Мне бы хотелось его привести:

«Все, что мало-мальски серьезно владело нашей душой, было лишь отблеском, невыполненным обещанием, неуловимым эхом. Но если бы это эхо окрепло в звук, вы бы сразу узнали, и сказали бы уверенно и твердо: «Да, для этого я и создан.» Мы никому не можем об этом рассказать. Это сокровенная печать каждой души, о которой рассказать невозможно, хотя мы стремились к ней раньше, чем нашли себе жену, друга, дело и будем стремиться в смертный час, когда для нас уже не будет ни дела, ни друга, ни жены. Пока мы есть, есть и это. Если мы это утратим, мы утратим все.» (C.S.Jewis- The Problem of Pain).

Окончание в № 252

Владимир Калашников

## Всякий и Никто

*Все возвращается. Думаешь, убежал  
и налетаешь на самого себя. Круглой  
путь домой самый короткий.*

«Улисс»

Лабиринт истории, также как и ариадновы метки на этом пути — культурные формы, не должно мыслить как процесс восхождения некоего единого духа по ступеням эпох и поколений. Отнести к любому культурному феномену как просто генетическому этапу вызревания духа — это означает убить его именно как культурный феномен, превратить в вещь, *εἶρον*, нечто завершенное и нами исчисленное.

Такой подход лишает историю личностной событийности, той внутренней *εὐεργεία*, которая, собственно, и наполняет историческое содержание смыслом.

Что понимать под единым взглядом на культурный процесс? Есть ли это взгляд с точки зрения вечности? — Какая самонадеянность! Да разве мы сами уже в вечности, да разве сама вечность — только точка и приговор, а не вечная, и в вечности своей никогда нескончаемая, а потому всегда открытая миру жизнь?!

Истина, — *ἀληθεία*, — это незабвенность, а потому *открытость*. Такой характер истины, превращает ее в несокровенное, а потому вечно и искристо юное, и не позволяет отнести к ней как к «давящему золотому слитку», прикрывающему темный в завершенности своей склеп истории.

Это означает, что к каждой эпохе, к каждому культурному феномену необходимо отнести как к целостной и принципиальной

личностной позиции. Личностная позиция раскрывается в личностном же общении, собеседовании, сострадании, если угодно.

Анализ эпохи или слова об эпохе, будь то роман или структура быта, всегда смахивают на анатомический театр. Смахивают тем, что объект анализа — это именно объект, то есть нечто завершенное, преодоленное и отжившее — труп.

Чем же тогда будет историческое, культурное, личностное собеседование? Вернее всего — исповедью. Собеседник также обращается к тебе, как и ты к нему, ты не менее ответственен, чем он: «если ты смотришь в бездну, то помни, что и она смотрит в тебя».

Тут вопрос не в том, кто прав: он или ты. Правота еще только может родиться в процессе самого диалога. А единая вечная Правда при таком понимании неотделима от собора правд человеческих. Взгляд назад и вокруг себя превращается в попытку смиренного, любовного проникновения в чужую болеющую совесть. Смиренного, потому что я сам грешен, а стало быть — не судия.

Мне хотелось бы сделать своим совопросником «Улисс» Джеймса Джойса, говорить не о нем, а с ним, и говорить о своем. Разговор этот имеет смысл не в качестве некоего очередного «прочтения». Само такое прочтение, «означивание» — это лишь очередной штрих в постмодернистской конструкции мира.

Но хочется верить, что у нас есть шанс приблизиться к некой новой наивности, ощутить у Джойса «дитя играющее», а еще вернее, пробиться сквозь Джойса к «ребенку, имеющему власть над миром»: «дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения» (*Ницше*).

### **Смысл как становление**

*Если мы желаем спасения, мы должны  
взять на себя усилия диалектики,  
беспощадную беседу самых простых  
основополагающих идей друг с другом.*

Прокл

У Джойса окончательно иссякает тот поток новоевропейского романа, ярким представителем которого был Рабле.

«Улисс» окунает нас в стихию становления. Становится и дышит все: мысль, тело, сам внешний мир. Каждый уголок, каждая крупинка убегает от самой себя, так что не на что опереться — отовсюду глядит хлябь развершаяся.

Путь романа — это путь вглубь этой хляби по направлению все большего саморасточения и самоистощения. Это не есть просто доминанта образа — становление насквозь пронизывает собой всю форму: от ее архитектоники до каждого малейшего атома. Убегающее от себя слово перестает быть самим собой. Оно бесконечно дробится в отражениях от окружающих слов и от самого себя. Кажется, что оно намерено убежать от своего собственного смысла.

Джойс вскрывает в слове его смысловую неставшость, превращает его как бы в тоску первопроизнесения (вы никогда не задумывались, что должен был чувствовать человек, произносящий первое членораздельное слово: ужас, а может быть, стыд?). Но такое «перво-» уже невозможно без отталкивания от твердых граней налипших за тысячелетия на «изговоренное» слово контекстов: «никогда не знаешь, чьи мысли пережевываешь». Эти контексты, для нас, как правило, невидимые, надо субстантивировать, сделать видимыми, чтобы затем сбросить как чешую. Для этого необходимо заставить слово собеседовать с самим собою, как бы постоянно окликать себя, себя среди чужих.

Мир «Улисса» — это не мир вещей, но мир слова, собеседующего с самим собою, испытующего себя, убегающего от того, что не есть оно само, ищущего себя в мире, который позабыл и не понимает глубину молчания.

Конечно, такое собеседование у Джойса весьма своеобразно. Бросается в глаза его тотальная агрессивность, перемальвающая слово до первоэлементов и затем расчетливо слагающая нечто новое. И агрессия эта не оканчивается словом, распространяясь на всю совокупность контекстов, на саму историю.

Такую доминанту художника мы охарактеризуем хайдеггеровским термином «постав». Совлечение контекстов, самоистощение слова происходит на путях нагнетания раз-

носмысленности, сочетания несочетаемого, сквозной полемичности.

Нет, наверное, ни одного произведения мировой литературы, где бы такая полемичность слова с самим собой проявлялась столь ярко и разнообразно. На каждом шагу текст как бы провоцирует сам себя, потенцирует себя противоположным.

Самое обычное проявление такого потенцирования — пародия. «Улисс» насквозь пародиен. Можно даже смело сказать, что нет такой завершенной культурной формы, которая не была бы здесь спародирована.

Пародийное отношение к любым культурным формам углубляется у Джойса вплоть до пародии на языковое мышление вообще, до демонстрации его изолгавшейся самодостаточности. На общем смысле этого апофеоза пародии мы еще остановимся, здесь же нас интересует, прежде всего, проникающее всего Джойса чувство самораздвоения, неравенства слова самому себе.

Пожалуй, все пронизывающая диалогичность является наиболее характерным моментом антиномического становления слова в «Улиссе».

Начиная с архитектурной переклички эпизодов и кончая метанием смысла в струях потока сознания — везде явно или скрыто проявляется внутренний диалог. Это не есть диалог лиц, также как и не есть диалог внутри одного лица. Если здесь и есть субъект, то субъект один — само слово.

Именно бессубъектность, граничащая с холодностью, лежит в основании такого странного катехизиса, как «Итака». Всеобщая диалогичность ведет к отсутствию выделенного, «отмаркированного» речевого центра в романе. Любая фраза может внезапно и, зачастую, совершенно незаметно для читателя быть прервана чужой разноголосицей.

В итоге, мы получаем рой мятущихся смыслов, которые не были изначально заложены в текст, но на наших глазах как бы спонтанно из него произросли. Текст начинает выступать из своих границ, разбухать по всем направлениям, стремительно и непредсказуемо двигаться, он становится ипостасью праздника всеобщего обновления смысла.

«Улисс» и есть это антиномическое становление себя преодолевающего и себе самому неравного слова, цветаевская «фонологическая каменоломня» (*Степун*): «созвучие смыслов», как достижение семантической пластичности через фонетическую. «Его (Джойса) любовью была филология, он имел фантастический слух на смысловое созвучие слов» (*Адамс*).

Язык — это нескончаемый ассоциативный поток, бесконечность вопрошаний, а не некая фиксированная субъект-предикатная, в себе самой исчислимая структура. В основе языка — глагол, то есть действие, отношение (синтаксис), а не номенклатура существительных (семантика). Язык не описывает мир, но творит его: «текст Джойса — не о чем-то, он сам есть это что-то» (*Бэкетт*). То есть текст уплотняется в попытке создать плоть, континуум, которые возникают как результат непрерывного самодвижения слова. Есть ли это люциферова пародия на «И Слово стало плотию» (*Иоан. 1:14*), потуги творчества из ничего, создание некоего мира чистой формы, чуждой и ненавистной любому содержанию? — Скорее нет, чем да.

Смысловый континуум у Джойса ошеломляюще хрупок, ибо становление не завершено и заряжено самоотрицанием. Это взрыхляющая плодоносную почву языка соха, предуготовляющая ее к посеву новых семян-смыслов (*λογος σπέρματα*): «мышление проводит борозды в поле бытия» (*Хайдеггер*).

Становление еще не определилось, оно не знает себя. Останется — вот тут-то и настигнет его морок Аримана, но пока становится, не твердеет, не замыкается в себе — есть еще надежда, что все мы, погрязшие в «оговоренном» мире обставших нас форм, вдруг станем кем-то еще.

Поверить, что все может быть иначе и за подобным скрыто неподобное. Именно этот пафос становящегося мира лежит в основании карнавальности «Улисса». Мир, данный как становление, есть балаган. Балаган же — это коловращение смысла, его напряженное самораздвоение, самопреодоление и само-абберация.

Вечность, понятая как юная и рождающая, не боится соприкасаться с миром. Смысл — это разрыв в косном массиве

мира. Такой разрыв лишает мир монолитной однозначности и равенства самому себе. Он раздваивается в себе самом, самому себе кажется язык. Он начинает смеяться.

Не превращает ли смех мир в «ад всесмехливый» (стихира на вечерни Великого Пятка)? Такой смех был бы чем-то чисто негативным, ото всего отталкивающимся и сжимающимся в бессодержательную и бессильную точку, неспособную родить нечто себе противоположное, «танцующую звезду» (*Ницше*).

Подобным негативным смехом не исчерпывается «Улисс». Реальное раздвоение и противоположение возможно лишь при реальном же полагании обеих сторон. Это означает, что балаган, переворачивая мир, не отрицает чужую правду, а показывает лживую изнанку любых поистершихся правд. Такой балаган неотделим от юродства.

Юродство есть торжество формы, но формы специфической. Может ли иметь форму бесформенное, может ли получить эстетическое закругление антиэстетическое?

Думается, может. «Улисс» пытается дать нам форму бесформенного, то есть становления. Эта форма и есть самораздвоение, самообращение в каждой точке, превращение любого, сколь угодно малого смысла в лабиринт. Такое самообращение, данное как жизненный факт, и есть юродство. Юродивый борется с жизнью, отчуждает ее от себя, но не как аскет, — уходя, — а в недрах самой ее публичности и непререкаемости.

Не через молчание он, как это делает аскет, приобщается к неизреченной правде, а через иронию и каламбур, через смыслы не прямые, но всегда касательные, через нелепый жест и внезапный крик на шумной улице.

Он всегда провокатор, мастер анакризы, любитель ставить в трудное, неловкое положение, дабы мы могли воспринять мир именно как положение, а не как жесткую преданность (черт — шут, но он смеющегося ставит не в трудное, а потому чреватое преодолением положение, а в глупое, замыкающее, хамское положение; с юродивым же можно не только смеяться — в него можно смотреться как в зеркало, лишаящее мир фатального совпадения с самим собой).

За каждым жестом юродивого чувствуется какое-то бряцание костей в самом разгаре жизни, так что жизнь и смерть меняются местами и «в расцвете смерти объаты мы жизнью».

Вся фактура текста у Джойса призвана вынудить нас к такому *salto mortale*, к выдавливанию из слова «сока смысла»: «необходимо создать целый мир из него, сжимая и сжимая слово, пока оно не выпустит весь сок того смысла, присутствия которого в нем мы никогда не подозревали» (*Элиот*). Тем самым слово умирает для своего непосредственно-жизненного смысла, оно с бряцаньем сбрасывает свою оболочку, а само устремляется куда-то вглубь, все дальше и дальше. Джойс не философски, не мистически, не как-либо еще, а именно художественно дает нам ощутить пограничную ситуацию слова.

Слово есть тончайшая грань между смыслом и бессмыслицей, постоянно эманлирующее первое во второе и возводящее второе к первому. Это — постоянный поиск, раздвоенность, не-ставшесть.

Хочется сказать — трагизм. Но нет, такая пограничная ситуация еще не есть ситуация трагическая. Для трагедии она слишком иррелевантна, слишком «сама по себе» — не бытие, но и не ничто, нечто постоянно текучее и в текучести своей себе довлеющее. Будучи имманентно всякому становлению, такое слово все соизмеряет с собой: с ветром оно как ветер, с огнем — как огонь, с телом — оно телесно.

Смысл как *μεταξυ* — скольжение «между», по касательной ко всем предметностям (в этом заключалась непреходящая находка Эпикура). Отсюда и «Протей», и «Эол», и «Сирены». Кажется, освоена какая-то новая грань мира, плацдарм в самом средоточии бессмыслицы. Блеснуло лезвие, вскрывающее темносветное тело Космоса и погружающееся туда, где «тьма во свете светит и свет не объемлет ее».

Эта неартикулированная тьма, не объемлемая светом, есть Хаос — лоно всякой бессмыслицы и, тем самым, «субстрат» становления смысла. Хочется сказать — изводящее лоно *свободы*.

Но свобода невозможна в замкнутой системе, ибо всякая замкнутая система исчислима, *дедуцируема*. Свобода же не

может быть результатом сложноплетения тривиальностей, набором общих мест, пусть и сколь угодно сложным. Свобода — это разомкнутость, а потому — предстояние перед Другим. Этой темы мы коснемся в дальнейшем.

Итак, «Улисс» — это *слово* становления, *форма* бесформенного, или *Хаосмос* (Эко). Как таковой, он есть самовопрошание и самораздвоение, бесконечное скольжение смысла над бездной бессмыслицы, а потому — «наши мысли не являются, как мы предполагаем, глубиной — они лишь пена на глубоком месте» (Йитс). Отсюда, мир как лингвистический феномен перестает быть задачей осмысления, понятой как продуцирование вполне оформленных, устойчивых и инструментальных в основе своей смыслов (знание-Kenntnis, от können — «мочь»).

Скорее, это некое многоголосие, бесконечно разрастающееся в каждой точке лингвистического континуума. Поэтому, пытаться навязать Джойсу-художнику одну, или пусть даже несколько, но фиксированных точек зрения, некий авторский «метакод» — это означает не увидеть в «Улиссе» Улисса. Улисс же странствует: «вечно скитается он, принуждаем одним собою, до крайних пределов своей кометной орбиты... Но где-то... он услышал бы и... последовал зову вернуться... Явился бы вновь возрожденным,... неузнанным... Куда?»

### *Смысл как миф*

*Смыслами мы называем  
ответы на вопросы.*

*То, что не отвечает ни на один вопрос,  
является для нас лишенным смысла.*

Бахтин

Вот именно — куда? В «Улиссе» мы имеем дело не с «фактичностью» мира. Вся скурпулезная «фактичность» событийности в романе иллюзорна, ибо она погружена в становление личностно-ознаменованных смыслов.

Но пока есть одно лишь становление, смысл, как уже говорилось, неотделим от бессмыслицы, и невозможно осмысление такого мира в платоновском понимании, то есть как

трансценденции, *περιχώρη* — «поворота», «отвращения» ума от мира как факта к миру как истинствованию.

Поэтому можно сказать, что герои «Улисса» — *агностики* (незнающие). Их мир, переполненный хитросплетениями *несущественных*, случайных и часто извращенных знаний, загадок и ребусов, граничащих с абсурдом, есть, в конечном счете, мир *незнания*, мир слепого Демиурга.

Герои «Улисса» постоянно ошибаются, они во власти неточности, хотя и уверены (совершенно ошибочно) в своей компетентности. Поток их со-(не-)знания напоминает броуновское движение мельчайших инертных частиц — в непрерывной цепи изменения ошибки компенсируют друг друга, и, в результате такого дрожания, мир «Улисса» (Bloomsday — день Блума) *стоит*, «как светопредставление» (то есть Doomsday), «а надо всем лежит гад смутного отчаяния и терпеливой грусти» (*Платонов*): *cul-de-sac* — тупик, «камерка Творца» (*Маркион*).

Это «подпольное» измерение мира Джойса мы еще проанализируем, а теперь нам важно само это стояние в себе, к себе самому возвращенность чистого становления, его «огорчительное равенство между исходом и возвращением». Несмотря на хлябь, разверзшуюся в самом средоточии бытия, мир «Улисса» на удивление стабилен в целом, в нем, по сути, нет времени, а на его месте — чистая распростертость сопоставлений: «не существует никакого — было, только — есть. Все протекает в вечном настоящем».

Эта диалектика перехода от становления к «ставшести» не имеет *непосредственного* отношения к неоплатоническому переходу от до-времени и бессмыслицы чистого становления, через разорванную временность нашего мира — к чистой «длительности» Души, а от нее — к вечности Ума и торжеству смысла. В диалектике «Улисса» нет вертикального измерения, нет трансценденции, а значит — нет ни цветаевского «неба поэта», то есть Души, ни торжества смысла, то есть Ума.

И все же, поскольку *есть* диалектика смысла в «Улиссе», постольку никуда от умственной «машинерии» Плотина не деться. Только диалектика эта не вертикальная, как у неоплатоников, но чисто горизонтальная, и дом ее — язык.

Итак, мир непрерывного смысла — это мир неоплатонического Ума. Его нет и быть не может у Джойса. Но, как мы уже говорили, смысловая сфера у него пытается целиком *заполнить*, а вернее, *воссоздать* мир именно как континуум. Среда такого воссоздания, мимикрирующая Ум, и есть язык. Но, опять-таки, такое воссоздание происходит как *горизонтальное* смысловое становление и, в пределе своего самодробления, уравнивается с бессмыслицей. Этот процесс далее всего зашел в «Финегановых поминках».

Так что же, лингвистический континуум Джойса — это бессмыслица? — Вовсе нет! В том-то и дело, что чистое становление немислимо без *ставшего*. Становление смысла всегда возвращается к себе, в себе пребывает и в этом пребывании оно предстает как некая квазистатичная структура, в плоть облеченный скелет — смысловой организм, то есть *миф*.

Горизонтальная структура этого организма тройственна и воспроизводит то, что «скоттисты» (исследователи учения крупнейшего схоласта — Иоанна Дунса Скотта) называют «психологией» Бога: *бытие* всех возможных полаганий; жизненный выбор, то есть полагание как *волевой акт*; и, наконец, *знание* (осознание) этим актом положенного.

Можно сказать, что Джойс не сужает сферу сознания, под которой обычно понимается именно третий элемент означенной структуры, а два первых относятся к так называемому «бессознательному», а, скорее, ее, — эту сферу, — неимоверно, прямо-таки «йогически», расширяет.

Произведение искусства становится вос-произведением, а, скорее даже, — замещением «психологии» Бога, то есть мифом. А потому в «Улиссе» мы имеем дело не с героем, как некой неповторимой индивидуальностью, но с героем мифическим, жизнь которого является и результатом, и образцом всякого повторения. Он — это «Всякий и Никто», некий индивидуальный набор общих мест (Эллманн приводит фантастическую этимологию имени Одиссей: от οὐτις — «никто» и Ζεὺς — Зевс, то есть, собственно, «Бог»).

Герой — это узел пересечения вечно повторяющихся вагнерианских лейтмотивов, индивидуальная, и случайная в своей

индивидуальности, арена манифестации безличных космических сил.

Здесь необходимо совершенно четко определиться. Если «Улисс», и, уж точно, «Финегановы поминки» — это романы-мифы, то мифы особенные. Когда Т. Манн в «Иосифе и его братьях» совершенно сознательно воспроизводит мифотворческую функцию определенной образной системы языка, сливает эту образную систему с ее идейным наполнением, то это «предполагает веру в конечные ответы» (Адамс), в изначальную — а не конструируемую — непрерывность смысла. Как в эпиграфе из М. Бахтина: миф — это связная система вопросов-ответов относящихся к *сути* бытия. А такая система предполагает вертикально-иерархическое этого самого бытия устройство.

У Джойса все иначе. Вопросы-ответы «Итаки», к примеру, совершенно конечны, в смысле своей случайности и несущественности, и, одновременно, потенциально-бесконечны, так как ни к какой сути бытия не относятся. Лежащая в основе лингвистического континуума необузданная страсть к многозначности раскалывает слово, образ, типаж вплоть до обнажения (неявного, косвенного!) никогда адекватно невысказываемой языковой стихии как таковой, которая, будучи высказана, изводит из себя все разнообразие частных мифологем.

Но и сами эти мифологемы ни на какие вопросы не отвечают, а являются лишь средством само-упорядочения лингвистического континуума, который в «Финегановых поминках» превращается уже в некую самодовлеющую *литургию*.

Джойс, подобно современным физикам, сталкивает в ускорителе своего романа образы, слова, контексты. Что же мы видим в результате? Опять образы, слова, контексты, зачастую изуродованные, диковинные и абсурдные. Но в момент самого столкновения на мгновение проступает, показывается (*επιφανοια*) некая первоструктура, первоматерия (тот «кварк» физиков, который нельзя увидеть, но о котором можно догадаться).

Это есть некая «сетка» (Адамс), упорядочивающая и окутывающая роман. Сама по себе она не имеет никакого само-

стоятельного смысла, но создает упругую, резонирующую среду, посредством которой перекликаются различные, зачастую весьма удаленные темы, образы и фразы.

Здесь хочется сделать краткий экскурс в современную квантовую физику, картина мира которой так сильно напоминает порой миры Джойса. Хочется обратить внимание, что в современной физике исчезла (во всяком случае, концептуально) резкая граница между микро- и макро- мирами: вся вселенная рассматривается как квантовый объект (это предмет изучения так называемой квантовой космологии).

Первая удивительная черта такой квантовой вселенной — в ней нет времени. В каком-то смысле, она и есть джойсовская упорядоченная распростертость и соотнесенность всех возможных событий. Вторая черта — в этой вселенной, в конечном счете, все связано со всем, причем, не причинно, но именно в силу изначальной целостности («холистичности», от *ολος*), или *когерентности* (*coherence*).

Почему же *мы* живем во времени и не слышим смысловых перекличек вселенной (как «звезда с звездой говорит»)? Это есть результат *χωρισμο* — отделенности, или отдельности, нашего бытия: у нас, как и у героев Джойса, несмотря на всю тысячеликость (*Адамс*: «Блум... - герой с тысячью лиц») и «необъяснимые странности и капризы человеческой природы» (*Адамс*), слишком мало «степеней свободы».

Мы, в силу своей ограниченности, здравы умом в шизофреническом квантовом мире и, расширяя сферу опыта и сознания, способны сохранить это здравоеумие только на пути тотальной рационализации — именно по рецепту Джойса.

Проблему тотальной рационализации у Джойса мы еще рассмотрим, а сейчас вернемся к мифу. В силу принципиальной «посюсторонности» «Улисса», миф в нем не дан, а задан как условие структуризации, осмысления, если угодно.

Поэтому под вскрытием мифической подосновы романа здесь понимается разработка пафоса совлечения, саморазоблачения, выявляемого в поле этой, никогда до конца невысказываемой, заданности. Становление как ис-ступление, саморасточение и самоизобличение, буйство выхождения за свои

пределы имеет совершенно четкое мифологическое осмысление, имя которому — *Дионис*.

Основной мотив дионисийского мифического круга — это саморазоблачение, жертвоприношение уединившейся индивидуальности во имя возрождения и обновления. Первый момент присущих этому кругу образов, который мы уже отмечали с чисто формальной стороны, — убегание от самого себя, изгнание: «не может быть примирения, если прежде не было разрыва».

Стивен — это человек совершенно сознательно бездомный, уходящий из дома отца, затем — отвергающий общий с приятелем кров. День Блума — постоянное убегание из дома и из памяти о нем. Это убегание, самоисступление не есть просто доминанта образов, оно разрушает саму образность, расплавляет все в едином потоке несущихся обезумевших менад. Дионисийское бегство неотделимо от безумия. Это вакхическое безумие сказывается в романе, прежде всего, в отсутствии, по существу, образов героя и автора как единой и единственной точек зрения на мир.

Но оно также определяет и выход героев за пределы человеческой конечности — нет у Джойса и быть не может «гибельного» договаривания судеб героев Достоевского. Герои Джойса изменятся и станут кем-то еще до всякого такого договаривания.

Истощение индивидуальности не может остановиться и на слове, оно расточает его, развоплощает мир, заставляет забыть его иерархичность, ставшестъ, бытийную уверенность в себе: «я был тогда счастливей. Хотя был ли это я? И сейчас я — это я ли?»

В круговороте нисхождения мир примеряет маски бытия, протеически перевоплощается. Эта карнавальная несамостоятельность актера, высмеивающего святое и освящающего низменное, есть неотъемлемая черта дионисийского действия. Вспомнить, хотя бы, тесно связанные с первоначальным действием сатиров перебранки, карнавальные развенчания и осмеяния, кончавшиеся, иногда, поколачиванием актеров, — избивание Стивена в «Цирcee», — а также напомним обряд вакхического опрокидывания жертвенных столов.

Мы вновь возвращаемся к карнавалу как попытке вывести мир из тождества с самим собой, поставить перед самим собой, как чем-то противоположным. «Всякое бытие в тебе, помимо тебя... Между двумя грохочущими мирами, там, где они сливаются в одном вихре, — я...»

Но это дионисийское, диадическое начало предполагает первоначальную слитость и единство, пестующее противоположность. На такой монадической обусловленности диады мы еще остановимся. Здесь вспоминается мысль Бахтина: грех как «каприз» в Боге, то есть убежание, перевертывание, игра возможны постольку, поскольку человек подсознательно чувствует свою обеспеченность бытием, то есть полноту.

В конечном счете, без этого не может быть никакого «опрокидывания столов»: «шум Блейковых крыл избытка. Слышу, как рушатся пространства, обращаются в осколки стекло и камень, и время охвачено синебагровым пламенем конца. Что же нам остается?»

Герой «Улисса» не воспринимается как герой литературы XIX, скажем, века, именно потому что он есть герой дионисийский — *dyonisoskolax*, в изменчивости бытия срывающий маски в погоне за мимолетной этого самого бытия явленностью, «эпифанией»: ибо Дионис — это и есть бог «эпифаний», «бог исчезающий и снова возникающий» (*Вяч. Иванов*).

Выпавший из полноты герой Джойса, понимаемый нами как ипостась Диониса, самоопустошает себя, и в кенозисе своем он пассивен. Он не действует (в романе вообще нет привычного действия), он претерпевает *παος*, страсти. Почему не действует Гамлет, например? Потому что он слабый человек?

Нет, потому что он дионисийский герой, видящий во всяком действии самораздвоение человеческой воли. Его действие — страдание. Претерпевающий вместе с Дионисом, — вождем становления, — пафос, герой «Улисса» отождествляет в себе жреца и жертву: «в кромешной тьме сплетаются они воедино, жертва и жрец».

Это двойничество героя — неотъемлемая часть дионисийских культов: «мы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, великанов, стариков, юношей, жен, вдов,

братьев по духу, но всякий раз встречая самих себя». Опять перед нами привычная уже диалектика становления: выхождения из себя, но непременно к себе возвращающегося и в себе пребывающего.

Подчеркнем еще раз, что под героем здесь мы понимаем не героя классической литературы, потому и двойничество не есть свойство образов романа. Оно пронизывает его насквозь — вплоть до двойничества слов, звуков, жестов и даже запахов. А раз все двойственно и не равно себе, то особый вес приобретает проблема самозванства и самоидентификации. «Нет, на поверку, личности, которая бы не была темной личностью, клубящимся облаком обличий. В чем неопровержимая печать личности, чем свидетельствуется ее идентичность?» (*Хоружий*).

Индивидуальности «Улисса» аморфны и полупрозрачны. За ними нет никакой личностной, а потому трансцендентной идеи, некоего конечного выбора и поступка, который всегда есть у героев Достоевского. Только набор общих мест. Адамс замечает, что Блум, например, эластичен и совершенно не критичен в своем отношении к реальности, в то время как Стивен эту реальность также не критично отвергает, просто — «из принципа».

А все потому, что они не «индивидуумы», а некие арены для игры и средства для манифестации космических сил, медиумы, через которых эти силы являют себя нам.

*Говорят, что «я» и «ты» —  
Мы телами столкнуты.  
Тепленеет красный ком  
Кровопарным облаком.  
Мы — над взмахами косы  
Виснущие хаосы.*

Андрей Белый

Тут нет души, как некой субстанции, неразрушимой в основе своей, а потому бессмертной. Скорее, это некие маски, а «маска и миметизм всегда от Диониса» (Вяч. Иванов). Более того, маски эти, как мы уже отмечали, юродствующие и «козлоногие» — маски Сатиров, спутников Диониса.

Почему Сатиров? — «Животно-грубая личина Сатира — тончайший покров ноумена; в ней ослабление принципа индивидуации доведено до последних, почти тeneвых форм» (Вяч. Иванов). Герои с их «характерами» чересчур «массивны» и замкнуты в себе. Сатиры прозрачны и уже практически свободны от индивидуальности.

Таким образом, индивидуальности у Джойса — это некие относительно стабильные (но, ни в коем случае, не вечные) структуры на поверхности океана хаоса, «пузыри земли» («Земля, как и вода, содержит газы/ И это были пузыри земли», *Шекспир*). В современной физике что-то подобное называется «солитон» (от «solitary»-уединенный): уединенная волна, бегущая по дрожащей поверхности вечно того же содержания.

«Улисс» представляет собой опыт лингвистической деконструкции индивидуальности, коррелятом которого является мифологема Диониса разъятого и нисходящего. Предел этого нисхождения, — Аид, — это уже «Поминки». «Улисс» же пока еще только спускается. Но спускается именно в Аид, а потому роман наполнен образами смерти и сам изначально строился как архитектоника разъятого тела. Апофеоз индивидуации и, одновременно, ее глубинное, вплоть до смерти, отрицание — это и есть Дионис.

«Дионис, по неоплатоникам, — «Бог разделенного мироздания», как виновник изначальной индивидуации; но он не имеет ничего общего с инстинктом самосохранения замкнутой в себе индивидуальной формы бытия, по отношению к которой является, напротив, внутренним стимулом саморасточения, как воссоединения с целым через переход в другие формы. Индивидуальность противится этому внутреннему зову Диониса в ней; тогда Дионис разоблачается как *смерть*» (Вяч. Иванов).

Расчлененное тело закланной жертвы и есть весь «Улисс» до самой малейшей детали (разъятие образа действия, мысли, слова, самого человека): «дыханьями мертвых дышу я живой, ступая по праху мертвых, пожираю мочой пропитанную требуху от всех мертвых». Ритуальное поедание расчлененного тела, включая омофагию и погребальный каннибализм — сквозная тема, лейтмотив в «Улиссе» (Дж. Бальзамо).

Лейтмотивы пронизывают, более того, формируют ткань «Улисса», а потому речь идет не о хронологической последовательности действий мифического героя: бегство — смерть от двойника — расчленение и ритуальное поедание. Нет. В этом-то и вся специфика Всякого и Никого, что каждый из этапов дан безотносительно хронологического сопоставления. В «Улиссе» нет действия как такового, но есть становление и его архетипы, данные в каждом атоме «повествования».

Итак, нисхождение в Аид, умирание и расчленение — как предел самоистощения: «существует тот свет после смерти и называется он ад». Но что есть смерть в «Улиссе»? «В расцвете смерти объята мы жизнью». Навий мир, пронизывающий «Церцею», целиком господствует в «Поминках». Планы бытия смешиваются, и смерть оплодотворяет жизнь, как это ощущалось участниками древних Анфестерий.

*Кто знает? Жизнь не значит ли у мёртвых смерть?  
И умереть, на языке теней, — ожить?*

Эврипид

Смерть есть возвращение в то лоно, которое таит в себе начало нового рождения:

*Как истончится жизни нить,  
Не так ли зовами и снами  
Жена, беременная нами,  
Захочет нас переманить?  
И пред вселеньем в новый дом  
Мы в ней узнаем лик любимый —  
И в лоно к ней, в тайник родимый,  
Юркнем извилистым ужом?*

Вяч. Иванов

Происходит причащение смерти и приобщение к Дионисовой элевсинской сопредстольнице, началу женскому, материнскому, заключающему в себе истоки рождений — Деметре. Диадичность Диониса как бы сама собою тянется к женскому своему дополнению, вспомнить хотя бы мужеборчество вакха-

нок, но сам Дионис — неженский бог, потому что он Сын; к этой теме мы еще вернемся.

Звучит в романе тема Матери, образ возрождающий: «единственное истинное в жизни». Не праздну шатаясь вернулся позабывший себя герой в то первозданное лоно, которое есть одновременно сумрак могильный: «скажи мне то слово, мама, если теперь ты знаешь его. Слово, которое знают все». Там, в теплой и мягкой утробе, ищет герой это первое слово — Любовь.

Но заметим: образ матери в «Улиссе» — образ *мертвой* матери, чья последняя просьба была Стивеном отвергнута. Мать здесь — *смерть*, жизнь изводящая, смертная память гранатова яблока Персефоны: «мать, отпусти меня»... Но так ли прям путь из Аида? Плоть («Пенелопа»), земля — есть только исходный пункт возрождения.

Как подобает мисту, должен заклавший себя герой припасть к роднику Мнемосины, дабы вспомнить и воспрянуть к воскресению. Но «Улисс» еще только нисходит, потому и память («память» — от «мысль») его нисходяща, хтонична и необузданна. И дочери такой Памяти, — спутницы и пестуны Диониса, подружки менад и эриний, — буйны, жестоки и мстительны, а потому задача припоминания невыполнима без посторонней помощи.

Разъятого и пожранного титанами дионисийского героя из его двойничества должен позвать голос монады: Отец зовет Сына. Таким образом, мы подходим к основной теме «Улисса»: к теме отцовства и сыновства — «идея Отца и сына. Сын, стремящийся к воссоединению с Отцом».

### **Смысл как «другой»**

*Я... не хочу сообщника,  
даже если бы это был сам Бог.*

М. Цветаева

Самоистощившийся герой, «сведенный к пренебрежимо малой отрицательной иррациональной ирреальной величине», это «мужедитя», возвращенное в лоно Деметры, может

окончательно распастся в самозабвении за порогом Аида, если не приобщится к началу монадического.

Только через это начало единства возможно воскресение преступившей порог смерти индивидуальности, ее *палингенезия*. Такое монадическое начало и есть Отец, но отец не данный, а еще только заданный, должный быть обретенным. Именно по этому пути идет Стивен.

И, с другой стороны, начало в-себе-пребывания «нисходя, приносит в жертву свою собственную полноту и цельность, наполняя собою все формы, чтобы проникнуть их восторгом избыточествующей жизни» (*Вяч. Иванов*).

Это начало должно выйти из себя, потеряться, забыть свой дом, куда оно столько раз неизбежно возвращалось: ибо «возвращаться — это самое худшее, что ты можешь придумать, потому что ты будешь себя чувствовать, как лишняя спица в колесе, раз неизбежно все меняется со временем». Поиск пути к причащению жертвенным становлением — это поиск Сына. Этим путем идет Блум.

Путь из дома и путь домой, в конце концов, должны пересечься, чтобы породить единственное должное состояться и, одновременно, от века состоявшееся — событие возвращения. Человек теряется, дабы обрести, узнать себя именно как событие бытия: «причина заключается в том, что доминанта и тоника разделены наибольшим возможным интервалом, который есть наибольший возможный эллипс. Совместимый финальным возвращением. Октава. Которая, то, что идет на край света, чтобы не пересечься с самим собой. Бог, солнце, Шекспир, коммивояжер, достигнув пересечения с собою в самой реальности, обретают самих себя. Себя, какими они в себе были неотменимо преобусловлены быть, Ессо!»

Открыть себя, себя, — прежде сокрытого обстанием предметных форм, — как событие бытия будет означать обратить свой ум в сторону восприятия личности как *ипостаси* бытия несокрытого. Такое причащение несокрытому есть отпускание себя на растерзание становлению, отрешение от бытия скрытого в ставшести — это первый шаг.

Второй шаг— это уже припадание к земле героя, умершего для себя. Третий шаг— узнавание себя в Другом и признание за Другим достоинства сущего. Это и есть «Ты еси», сказанное Отцу.

«Улисс» приобщает нас к этим шагам, но нелепо было бы видеть в Джойсе некоего нового мистагога. Во-первых, сам миф дан у него не непосредственно, а в своем принципиально сниженном измерении (например, гранатовое яблоко Гедеса, как амбивалентная память смертная в разгаре жизни, — и старая картофелина в кармане Блума).

Не надо, конечно, думать, что это нечто лишь Джойсу присущее. Уже в древней трагедии перестали изображать страсти Диониса, но уподобительно низошли в профанное измерение — к страстям героев, как дионисовых ипостасей. Но не это главное. Нет у Джойса истины «Ты еси».

Нет фатально. А потому «Улисс» не есть трагедия. Для трагедии он слишком глубоко погружен в становление. Человек, вышедший из Аида навстречу Отцу, должен пройти через очищение — катарсис.

А вот этого у Джойса как раз и нет. Потому-то и Сын у него не узнает Отца. И остается вместо события встречи «хлад межзвездных пространств» и «огорчительное равенство между исходом и возвращением». В «Улиссе» есть «Сирены», но нет Орфея — света Аполлона, брошенного в вихрь Диониса: «Орфей противопоставляет царю Дионису аполлоническую монаду, отвращающую его от нисхождения в титаническую множественность и от ухода с трона, и берегущую его чистым и непорочным в единстве» (*Вяч. Иванов*).

И не выводит Орфей Эвридику из бездны Аида, не собирает плоть разъятая и не искупляется земля. А потому, и нет опоры для искупления, телестериона, — начала «квадратности», — укореняющего героя и защищающего его от тотальной удобопревратности.

Исходная точка возвращения, — заступничество Матери, мотив которого так мучительно звучит в «Цирцее», — не пройдена. Без этой точки, без материнского заступничества, которого так мучительно жаждет Стивен, не может быть пути к Отцу. Ошибка лежит в самом основании, а потому в Стивене есть нечто Демофонтово — некое недоделанное бессмертие.

Ощущение этой «недоделанности», отсутствия точки опоры, подпорки, — или *ипостаси*, — является подспудным двигателем для Стивена. Поэтому мы можем сказать, что «Улисс» — это роман о проблеме *ипостазирования*, или лицетворения, как центральной проблеме человеческого существования.

И, как бы ни были запутаны траектории человеческих судеб, они являются, в конечном счете, векторами, у которых есть как конец и направление, так и начало. То есть доминантами «Улисса» являются не только, и не столько, поиски Отца, но и поиск утраченной Матери.

И здесь для Стивена проводником могла бы стать не мысль столь им почитаемого Аквината, но мысль Дунса Скота — «Доктора Утонченного и Мариева» (*Doctoris subtilis et Magiani*), учителя ордена францисканцев, исповедника доктрины непорочного зачатия Девы Марии, доктрины, ставшей догматом католической церкви через полтысячи с лишним лет после его кончины.

Мне представляется, что в основе этого догмата лежит *софийная* интуиция, родственная той, которая породила представление о Матери-Земле, Богоземле в русской религиозно-философской мысли: материя не есть платонов «морок» недо-существования или аристотелева бессильная невыявленность возможностей, в которые *проецируется* некий внешний смысл. Она есть «материнское лоно изначальности, первопринцип бытия» (*С. Аверинцев*), реальная жизненная основа мира, хран бытия тварного.

В «Улиссе» же этот смысловой план инвертирован и снижен: мать Стивена, мучаясь, жила и, мучаясь же, умерла. Она присутствует в романе как некая неосуществленная и утраченная возможность. Молли же — это некая утрата или несостоявшееся материнства, материя аристотелева, но уж никак не дунсова. Вместо хранения бытия — перверсия жизни и смерти, хлябь, на которую нельзя опереться, но в которой нельзя и утонуть. Такая материя — томистский «принцип индивидуации», различий привходящих и несущественных.

А потому в «Улиссе» все, в общем-то, несущественно, его мир населен индивидуальностями, «пузырями земли», но в

нем нет места для *ипостаси*, ибо ипостась не есть просто индивидуальный набор всегда повторяемых качеств — она уникальна и неповторима, — «этова», — в самом существе своем и в существе этом *различает* себя от *Другого*.

Раз нет опоры, — Матери, — нет и реальности различий, а нет реальности различий — нет и Другого. И нет любви, которая снизошла на людей и растворилась в них без остатка. Это растворение без остатка, «бывание» на одной ступени с Духом Святым, фамильярность по отношению к Нему, онтологическое «сродство» или то, что сейчас модно называть «духовностью», — соблазн великий. А.Ф. Лосев заметил, что догмат «filioque», выделяя Третью Ипостась Троицы в некотором общем отношении Ее к Первой и Второй Ипостасям («исхождение»), приближает Святой Дух к человеку, делает человека в каком-то смысле «фамильярно»-духовным и самодеятельным.

Но такое взаимопогружение миров Духа и человека, интимное участие жизни души в жизни Ума, как это ни парадоксально, еще фатальнее отделяет человека от Божественного как Истока, Бездны и Тишины. У Валентина всем человеко-божеским исканиям и стремлениям Плеромы положен Орос-предел, отделяющий ее от Бога в Себе Самом. Такой же предел отделяет Плерому от твари. В мире-твари нечего и некого спасать, незачем побеждать силы тьмы — он погублен раз и навсегда.

### ***Смысл как невычисляемость***

*После освобождения на мир будет  
ниспослано особого рода неведение,  
которое исключит всякую возможность  
одной ступени мироздания стремиться  
к другой ступени и которое научит  
каждую ступень мироздания  
удовлетвориться своим положением.*

Василид

Поскольку нет завершающей, оконечивающей санкции Другого, любой контекст вынужден сам брать на себя функцию этого «другого». А это может быть осуществлено лишь

путем бесконечного самопродуцирования, когда происходит подмена инобытия все тем же содержанием.

Такая подмена есть двойничество, бесконечная прогрессия пустоты, мерцающей меж двух зеркал. Вакхическое исступление, уничтожающее соотношенность с «другим» и окончечность, порождает, как ни странно, *мир тотального расчета*. Развоплощенная стихия приемлет лишь одну имманентную оформленность — числовую.

В «Улиссе» предмет такого «счисления» и планомерной калькуляции — слово, которое становится *тварью*. Художник осмысленно и планомерно практикует некий дискурс, калькуляцию по отношению к этой твари. Он — *Демиург*.

Всякий смысл для него подручен и Демиург фамильярен в отношении к нему. Такая фамильярность — это основа демиургического мира как *технологии*. Мир, лишенный Матери и Отца, то есть лишенный родственности, лишается подлинной органичности, становится косным в самой основе своей, несмотря на обилие чисто внешней подвижности, ибо вся эта подвижность — лишь шорох чисел-нежитей.

Отсутствие органичности создает столь характерную для «Улисса» смесь тоски по телу с брезгливым отвращением по отношению к нему. Тело здесь лишено эйдетичности, то есть не имеет внутреннего основания и глубокой смысловой перспективы.

Здесь интересно сравнение с Платоновым, для которого также крайне характерно острейшее ощущение *неродственности* бытия. Однако, у Платонова это ощущение чисто гностическое: неродственность есть недолжное и преодолимое состояние (классическая иллюстрация — «Река Подутань»).

Фундаментальная дисгармоничность бытия у Платонова также как и у Джойса выражается в языке. У Платонова упущенность бытия делает выражение проблематичным, шероховатым и косноязычным, как если бы между человеком и миром, так же как между человеком сокровенным и внешним, находится вязкая и неподатливая среда.

Мир как бы начинает сопротивляться, видоизменять характер выражения, неожиданно отвечать. Попытки конструирова-

ния и исчисления по отношению к такому сокровенному миру (вспомним раннюю публицистику Платонова) всегда обречены («Чевенгур», «Котлован», «Город Градов»): «не есть ли сам закон... — нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?».

Но у Платонова этот сокровенный мир *есть*, хотя он и отделен от человека. Этот мир *другой*, и с ним можно вступить в диалог. Если это и гностицизм, то «Валентинианского» толка с его живой, трепетной, страдающей и, в конце концов, получающей искупление Ахамот-Софией.

У Джойса никакого сокровенного мира *нет* (или *уже* нет). Никакой онтологически значимый диалог здесь невозможен. Вся (псевдо-) сокровенность есть результат головоломного языкового конструирования. Диалог, так сказать, происходит всегда на одной плоскости.

Вся перспектива и углубленность есть результаты тщательно сконструированной иллюзии. Но проблема «Улисса» (и «Поминок») не в сложности конструкции, а в ее онтологической *замкнутости*: «если вы выбросите трансцендентного Бога из символического мира Средневековья — вы получите мир Джойса» (У. Эко).

У Джойса художник, как уже говорилось, — Демиург. Демиург творит конструируя алгоритмы и вычисляя на их основе. Его мир *онтологически* замкнут и потому *вычисляем*. Демиург творит порядок из хаоса подобно опытам старика Леверкюпа из «Доктора Фаустуса»: диковинные и прихотливые нежити, — «цветы зла», — в стакане с раствором жидкого стекла.

Здесь нужна только заправка. Художник-Демиург и задает эту заправку-решетку, на которой произрастает обильное и диковинное многословие. Но весь этот Хаосмос совершенно вычисляем (дедуцируем) именно потому, что мир его — *стакан*. Смысл здесь — это и есть прихотливая связь всего со всем внутри *замкнутого «стакана»* (замкнутого не в пространственно-временном смысле, но в смысле отсутствия другого онтологического горизонта).

В таком мире все вычисляемо, — как гласит математический «тезис Черча», — и человек в нем — более или менее

сложный автомат («пузырь земли»), выполняющий алгоритмы, заданные Демиургом. Вернее было бы сказать так: функционирующий в рамках, заданных Демиургом. «Самовываривание» языка, также как и свобода человеческая в таком мире — чистые иллюзии, возникающие из *незнания* системы алгоритмов, способов исчисления и предустановленных рамок.

Но свободен ли в своем творчестве сам Демиург, существуют ли рамки для него и знает ли он их? В современной математике существует чрезвычайно важная теорема Геделя, которую можно в контексте данного вопроса интерпретировать так: Демиург также *ограничен и незнающ*. Перед нами — в себе замкнутый и завершенный, утонченно загубленный *мир незнания* (αγνοσις), в котором *смысла нет*, в котором смысл утрачен раз и навсегда. Мир Василида...

Но раз полная «вычисляемость» смысла означает отрицание смысла как такового, то мир Демиурга — это мир самопротиворечия, то есть *абсурда*. Абсурд, как внутренний двигатель «Улисса» и, особенно, «Поминока», совершенно не противоречит их тотальному конструктивизму, но, напротив, логически с ним связан.

Он же абсурд — то есть, является эрзацем свободы в этом постоянно бурлящем и, одновременно, холодном и неподвижном мире. Тут приходят на ум фигура плута и провокатора Локи, этой ипостаси «вечно настоящего», заигравшегося с собою до смерти, и страшный образ одноглазой мудрости Одина, этого «повелителя» мира, мира, в котором все сделано «на один глаз». Только в таком мире никогда не случится Рагнарек, ибо боги и чудовища в нем — одно и то же. Вернее сказать, это и есть сам Рагнарек, застывший во времени и безнадежности...

И все же, мир «Улисса» небезнадежен, ибо разошедшийся в себе самом Улисс срывает маски с самозванцев. И сам он, застывший в наличности своей, — тоже самозванец.

Чтобы истина эта открылась человеку, нужно уйти от себя, здесь и теперь положенного, выпасть из фатального совпадения с самим собой и, исходив все пути, впервые стать по-настоящему одиноким.

Опустошивший себя в горении своем, одинокий освобождает место для Другого. Смеясь и плача он бьется о границы, ибо теперь видит грани, о которых и понятия не имеет в себе пребывающий. Знание границы неизмеримо возвышает странника, но это еще не Встреча. В саморазоблачении своем ставший сырым и нагим странник смиряется. Смиряется не перед наличным — нет, но перед границей человека. Такое смирение не есть остановка — оно не переставая бурлит в самопреодолении.

Но самопреодоление это имеет новое, не ставшее достоянием Джойса-художника, измерение — Другого, ибо только он может завершить человека. Стать перед границей человека — это значит впервые по-настоящему почувствовать событие Смерти.

В мире Демиурга смерть лишена событийности — она есть фактичность умирания: «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мной кривые глухие окольные тропы».

Поступь странника — поступь по дороге, а не плутание по окольным тропам. И потому перед лицом Другого, прошедший чистилище «Улисса» одинокий странник, учится каяться и надеяться.

От успокоенности в слепоте своей (αἴωσις) он переходит к беспокойству (γνώσις), чтобы, в конце концов, научиться смирению.

*Вена, октябрь 2013*

Николя Верт

## Великий голод 1932–1933 годов на Украине

По случаю восьмидесятой годовщины великого украинского голода, я бы хотел подчеркнуть, насколько вырос в последние годы уровень знаний об этой трагедии, которую так долго замалчивали.

Доступ к долгое время закрытым источникам, таким как секретные постановления Политбюро или Центрального комитета Коммунистической партии Украины, переписка Сталина с его самыми близкими соратниками Молотовым и Кагановичем, донесения органов безопасности о положении в деревнях и особенно на имеющих стратегическое значение «фронтах заготовок» — Украина, Кубань, Поволжье, позволил проанализировать и лучше понять политические механизмы и степень ответственности высшего советского руководства за появление и распространение такого явления, как голод на Украине и на Кубани<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Среди наиболее значимых из последних работ, вышедших в последнее время, и использующих в том числе эти источники, упомянем: третий том (1930–1933гг.) монументального труда «Трагедия советской деревни» под ред. В.П. Данилова, опубликованный в 2001 году издательством «РОССПЭН»; переписку Сталина и Кагановича (под ред. Олега Хлевнюка, опубликованную в 2001 году издательством «РОССПЭН»), а также четыре сборника документов под редакцией С.В.Кульчицкого: «Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів», Киев, 1990; Он же. «Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини і наслідки», Киев, 1993; он же, «Колективізація і голод на Україні, 1929–1933», Киев, 1993; он же, «Україна між двома війнами (1921–1939)», Киев, 1999; Шаповал І., Васильєв В. «Командіри Великого голоду: поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ, 1932–1933», Киев,

Но также лучше оценить характеристики украинского голода по сравнению с теми, которые в 1931–1933 годах имели место в ряде регионов СССР: в Казахстане (1,1–1,4 миллиона погибших, или почти треть автохтонного казахского населения!), в Западной Сибири, в Поволжье несколько сотен тысяч погибших<sup>1</sup>.

Прежде чем упоминать вклад, который внесли недавние работы, посвященные голоду на Украине, отдадим дань первым трудам, которые пытались снять завесу молчания, окружавшую это чудовищное событие: нельзя не отметить ту роль, которую сыграла вышедшая в 1986 году работа Роберта Конквеста «Урожай скорби», подчеркивавшая важность связи голода с национальным вопросом, вопросом, получившим всестороннее освещение на основании новых материалов усилиями американского историка Терри Мартина<sup>2</sup>. Напомним также важные труды Джеймса Мейса, опубликованные до открытия советских архивов<sup>3</sup>, такие как свидетельства жертв голода, собиравшиеся с пятидесятих годов Украинской ассоциацией жертв террора<sup>4</sup>.

---

2001. Вспомним также имеющий важное значение сборник переписки итальянских дипломатов, опубликованный Андреа Грациози: Andrea Graziosi, "Lettres de Kharkov: la famine en Ukraine et dans le Caucase du Nord à travers les rapports des diplomates italiens, 1932–1934" // *Cahiers du monde russe et soviétique*, vol. 30 (1–2), janvier-juin 1989 (на ит.: *Lettere da Kharkov, La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei diplomatici italiani, 1932–1933*, Turin, 1991).

<sup>1</sup> О голоде в Казахстане см. Абылхожин З.Б., Алдазуманов К.С., Козыбаев М.К. «Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства», Алма-Ата, 1992; Isabelle Ohayon, *Du nomadisme au socialisme. Sédentarisation, collectivization et acculturation des Kazakhs en URSS, 1928–1945*, Paris, Maisonneuve, 2006; Малышева М.К., Познанский В.С. «Казачи-беженцы от голода в Западной Сибири, 1931–1934», Алматы, 1999; Ивницкий Н.А. «Репрессивная политика советской власти в деревне, 1928–1933», М., 2000.

<sup>2</sup> Terry Martin, *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 2001.

<sup>3</sup> James Mace, *Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918–1933*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

<sup>4</sup> *The Black Deeds of the Kremlin. A White Book, vol. 2: The Great Famine in Ukraine in 1932–1933*, Detroit, 1955.

В свете последних исследований мы можем сегодня проследить за процессом принятия политических решений, за последовательностью развития событий, приведших к голоду на Украине. Именно эти процессы я попытаюсь резюмировать здесь, прежде чем упомянуть новый источник по истории голода, сообщения органов безопасности о положении в деревне, и в качестве заключения, поделюсь размышлениями о специфике украинского случая, как примера массового преступления.

В 1931 году государственным заготпунктам удалось с весьма низкого урожая — шестьдесят девять миллионов тонн — собрать рекордный объем зерна в двадцать три миллиона тонн, из которых более пяти миллионов пошло на экспорт.

Из-за неурожая в Западной Сибири и в Казахстане, основной удар был нанесен по Украине, Северному Кавказу и Центрально-Черноземному району.

Так, на Украине было изъято сорок два процента урожая, что привело к дезорганизации производственного цикла, уже серьезно нарушенного насильственной коллективизацией и раскулачиванием.

Многие колхозы были вынуждены, чтобы выполнить план, отдать часть семенного фонда, необходимого для посевов, тем самым, ставя под угрозу свое будущее.

С февраля-марта 1932 года в сообщениях секретно-политического отдела ОГПУ, посылавшихся советскому руководству, упоминалось об «отдельных случаях продзатруднений»<sup>1</sup>, что подтверждал и первый секретарь ЦК украинской компартии Косиор в письме, отправленном Сталину. По мнению Косиора, эти «отдельные случаи голода» объясняются «перегибами и замалчиванием работников райаппарата, которые слегка перестарались во время последней заготкомпании...

В то же время необходимо категорически отметить все утверждения о так называемом «голоде» на Украине»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> ЦА ФСБ 2/10/53/42-50.

<sup>2</sup> Кульчицкий С.В. (ред.), *«Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів»*. Киев, 1990, сс. 147–148.

В течение следующих недель, совпадавших с традиционным перерывом между урожаями, ситуация со снабжением значительно ухудшилась до такой степени, что Петровский, председатель ЦИК Украины, и Чубарь, глава украинского правительства, решились адресовать, каждый со своей стороны, длинное письмо Сталину и Молотову, в котором описывали ставшую критической ситуацию в украинских деревнях.

«По меньшей мере сто районов (против шестидесяти одного на начало мая) нуждаются в срочной продовольственной помощи», — писал Чубарь, — «Я побывал во многих деревнях и везде видел голодающих... женщины плачут, мужчины иногда тоже. Критика заходит далеко. «Зачем вы искусственно создали голод? У нас был урожай. Зачем вы все отняли? Даже при старом режиме никто так не делал!»<sup>1</sup>.

Чубарь, как и Петровский, объяснял ситуацию «перегибами», «головокружением от успехов» местных чиновников, без сомнения забывая о том, что те повиновались четкому указанию — выполнить план любой ценой. Они указывают на опасность: если мужик ослабеет настолько, что не сможет работать, урожай 1932 года будет катастрофическим. Чубарь требовал срочной помощи. Впрочем, достаточно скромной: в миллион пудов — шестнадцать тысяч тонн — зерна. Петровский осмелился просить немного больше: полтора-два миллиона пудов — двадцать четыре-тридцать две тысячи тонн<sup>2</sup>.

Эти просьбы остались без ответа. Неделей позже Сталин делится с Кагановичем своими впечатлениями: по его мнению, положение на Украине — результат «механистического отношения к последнему заготовительному плану... В расчет не приняли реальное положение каждого колхоза»<sup>3</sup>.

Впрочем, речи о том, чтобы скорректировать план на будущий год, объяснял он, не шло. В июне Сталин и Молотов посылают руководству Украинской компартии очень жесткую телеграмму, напоминающую, что не может быть речи о

<sup>1</sup> РГАСПИ, 82/2/139/162–165.

<sup>2</sup> Письма Чубаря и Петровского входят в сборник Ю. Шаповала и В. Васильева, «Командіры...», цит.соч. (прим. 1), сс. 206–215.

<sup>3</sup> РГАСПИ, 81/3/99/67–68.

снижении плана поставок колхозами и совхозами, и им не будет предоставляться никакая дополнительная отсрочка<sup>1</sup>.

На Третьей конференции украинской компартии, собравшейся вскоре в Харькове, подавляющее большинство выступавших секретарей райкомов и обкомов назвали «нереальным» план заготовок, навязанный Москвой.

Тем не менее, под давлением Молотова и Кагановича, поспешивших в Харьков и грубо вмешивавшихся в дискуссию, утверждая, что «любая попытка снизить план есть антипартийный и антибольшевистский поступок», делегаты конференции утвердили план Москвы на 1932 год: Украина должна поставить триста пятьдесят шесть миллионов пудов зерна или приблизительно шесть миллионов тонн<sup>2</sup>.

Открытое противодействие со стороны украинского руководства, очевидно, не осталось незамеченным Сталиным, что подтверждает недавно опубликованная переписка генерального секретаря с Кагановичем.

В июле в первый месяц заготовок по новому плану, «хлеб не пошел»: к концу июля было поставлено всего сорок восемь тысяч тонн, то есть в семь раз меньше, чем год назад<sup>3</sup>! В августе Сталин направил длинное письмо, имеющее первостепенное значение для понимания истории украинского голода, Кагановичу, в котором он пишет, в том числе:

«Самое главное сейчас Украина. Дела на Украине из рук вон плохи. Плохо по партийной линии. Говорят, что в двух областях Украины (кажется, в Киевской и Днепропетровской) около пяти райкомов высказались против плана хлебозаготовок, признав его нереальным. В других райкомах обстоит дело, как утверждают, не лучше. На что это похоже? Это не партия, а парламент, карикатура на парламент. Вместо того, чтобы руководить районами, Косиор все время лавировал между директивами ЦК ВКП и требованиями райкомов

<sup>1</sup> Шаповал Ю., Васильев В., *цит. соч.*, с. 93.

<sup>2</sup> О III Партконференции КП(б)У см. статью, которую посвятил этому «прологу к трагедии голода» Юрий Шаповал в работе, цитированной в прим. 1 («*Командіры...*»), сс. 152–178.

<sup>3</sup> Шаповал Ю., Васильев В., *цит. соч.*, с. 98.

и вот — долавировался до ручки... Плохо по линии советской. Чубарь — не руководитель.

Плохо по линии ГПУ. Реденсу не по плечу руководить борьбой с контрреволюцией в такой большой и своеобразной республике, как Украина. Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем потерять.

Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет, и его агентура на Украине во много раз сильнее, чем думает Реденс или Кошиор. Имейте также ввиду, что в Украинской компартии — пятисот тысяч членов, хе-хе обретается не мало (да, не мало!) гнилых элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев, наконец — прямых агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт внутри (и вне) партии, против партии. Самое плохое это то, что украинская верхушка не видит этих опасностей<sup>1</sup>.

Далее Сталин предлагал Кагановичу возглавить украинскую партию, заменить на посту главы ГПУ Украины Реденса Балицким, уволить Чубаря.

Письмо Сталина завершалось следующим образом: «Поставить себе целью превратить Украину в кратчайший срок в настоящую крепость СССР, в действительно образцовую республику. Денег на это не жалеть. Без этих и подобных им мероприятий (хозяйственное и политическое укрепление Украины, в первую очередь — ее приграничных районов и тому прочее), повторяю — мы можем потерять Украину».

Для Сталина Украина уязвима, но не из-за неминуемого голода, который угрожает смертью миллионам украинцев, она уязвима политически.

Она выглядит слабым звеном системы. Сталин не забыл, что за два года до того советский режим на несколько недель потерял контроль над сотней округов, граничащих с Польшей, в которых проходили наиболее массовые выступления против насильственной коллективизации деревни; что на одной только Украине имело место более шести с поло-

---

<sup>1</sup> *Сталин — Каганович. Переписка.* Под редакцией Хлевнюка О. В., М., РОССПЭН, 2001, сс. 273–274.

виной тысячи массовых выступлений и беспорядков, зарегистрированных ОГПУ в марте 1930 года; что восставшие украинские крестьяне шли с откровенными лозунгами: «Ще не вмерла Україна!»

Требовалось вмешательство, которое заключалось бы в подчинении украинского крестьянства целям общего развития СССР, то есть, в обозримом будущем, в выполнении в четкие сроки первого пятилетнего плана. А ведь тот основывался на программе экспорта сельскохозяйственной продукции; в этом контексте ежегодная кампания по заготовкам, по выражению Сергея Кирова, одного из самых близких соратников Сталина, выглядела «пробным камнем нашей силы или слабости, силы или слабости наших врагов»<sup>1</sup>.

На «фронте заготовок» сентябрь и октябрь 1932 года стали катастрофой. В сентябре месячные планы были выполнены на Украине лишь на тридцать два процента, на Северном Кавказе на двадцать восемь. В октябре темпы поставок снизились еще более: в конце месяца на Украине было собрано лишь двадцать два процента от месячного плана, на Северном Кавказе меньше восемнадцати процентов<sup>2</sup>.

В донесениях секретно-политического отдела (СПО) ОГПУ освещались многочисленные уловки, к которым прибегали крестьяне, зачастую в сговоре с колхозной администрацией, чтобы утаить часть урожая от государственных заготпунктов: едва собранное зерно зарывали в яму, прятали в «черных амбарах» — подпольных хранилищ, рассеянные за деревенской околицей, мололи на «ручных мельницах», расхищали во время транспортировки к элеваторам или в момент взвешивания; дети, женщины и старики, к которым, как крестьяне считали, закон будет более снисходителен, посылались ночью стричь колоски. Таких на селе не без юмора называли «парикмахеры».

Именно с этим сопротивлением, с этим «кулацким вредительством» собиралось покончить Политбюро, решившее в октябре направить на Украину и на Северный Кавказ две

---

<sup>1</sup> *На фронте сельскохозяйственных заготовок*, 1932, № 11, с. 1.

<sup>2</sup> Шаповал Ю., Васильев В., цит. соч., с. 104.

«чрезвычайные комиссии», одну из которых возглавлял Вячеслав Молотов, другую Лазарь Каганович.

В течение трех решающих месяцев эти комиссии, в которые входило высшее руководство ОГПУ, сыграли ключевую роль в увеличении масштабов голода.

Исключительно важные ныне доступные нам источники — телеграммы, посылавшиеся обоими «уполномоченными» Сталину, телеграммы, которыми они обменивались с руководством украинской компартии, речи, которые Молотов и Каганович держали перед местными партийными, но также и колхозными руководителями, путевой дневник, который вел Лазарь Каганович<sup>1</sup> — позволяют одновременно в деталях рассмотреть и политическую, и идеологическую аргументацию посланников Сталина, эскалацию репрессивных мер и все более широкое использование голода для подавления сопротивления украинского крестьянства.

Двадцать девятого октября, перед отъездом в Ростов-на-Дону, Каганович представил Политбюро «Проект постановления», определяющий цели его миссии на Северный Кавказ. Эта цель — «усилить заготовки», то есть «принять все меры по слову саботажа сева и хлебозаготовок, организованного контрреволюционными кулацкими элементами»<sup>2</sup>.

Прибыв в Ростов, Каганович объявил, выступая на заседании бюро крайкома, что «бесполезно пытаться заставлять меня подсчитывать запасы хлеба. Это открывает путь ко всевозможным махинациям и попросту означает отказ от выполнения плана по заготовкам. Проблему можно решить, только подавив контрреволюционный кулацкий элемент»<sup>3</sup>.

Из Краснодара Каганович писал Сталину: «Контрреволюционеры сидят спокойно. Да и обстановка и наша негодная работа, то есть работа местных организаций, либерализм, бездействие и оппортунизм благоприятствуют созданию антисоветских организаций... Во всяком случае, главная задача

---

<sup>1</sup> См. документы, собранные Ю. Шаповалом, В. Васильевым, *цит. соч.*, сс. 204–367.

<sup>2</sup> РГАСПИ, 81/3/214/214.

<sup>3</sup> РГАСПИ, 81/3/214/8.

здесь сейчас — это сломить саботаж несомненно организованный и руководимый из единого центра... Сейчас еду из Краснодара в станицы. Думаю направиться в самую злостную Полтавскую, где имеется четыреста человек учителей, врачей и техников + полковники, есаулы и тому прочее»<sup>1</sup>.

Миссии Кагановича и Молотова, который выступал с аналогичными заявлениями, едва прибыв в Харьков, а затем в ходе поездки в Одесскую и Днепропетровскую области, походили на настоящие военные кампании против восставших. Сотни отрядов «активистов» и «уполномоченных» с неясными полномочиями при поддержке агентов ОГПУ были направлены в деревни, «изымать хлеб».

Среди первых мер, принятых Молотовым и Кагановичем, фигурирует приостановка снабжения промтоварами районов, не выполнивших план. Самые «злостные» станицы заносились на «черную доску».

Занесение в черный список влекло за собой прекращение поставок продовольственных и промышленных товаров, закрытие магазинов, полное прекращение торговли, прекращение всякого рода кредитования и досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств, исключительно высокое обложение, а конкретнее — полная конфискация последних крестьянских припасов, массовые аресты всех «саботажников плана по заготовкам».

Количество арестов на Украине и на Северном Кавказе росло лавинообразно: двадцать тысяч в ноябре только за «саботаж хлебозаготовок», более тридцати тысяч за «хищение колхозного и общественного имущества» (каравшееся согласно закону, принятому в августе 1932 года, десятью годами лагерей и даже смертной казнью); семьдесят две тысячи по этим двум пунктам обвинения в декабре<sup>2</sup>. В ходе арестов, осу-

---

<sup>1</sup> РГАСПИ, 558/11/740/180.

<sup>2</sup> Шаповал Ю., Васильев В., *цит. соч.*, с. 125. (об арестах за саботаж заготовок). Количество осужденных за «хищение общественного имущества» рассчитывается по данным докладной записки председателя Верховного Суда СССР А.Н. Винокурова о практике применения закона от 7 августа 1932 года (ГАРФ, 1235/141/1005/67–91).

ществлявшихся «заготовительными отрядами», были открыты тысячи тайников с зерном.

Тем не менее, если копнуть поглубже, согласно данным самого Всеволода Балицкого, нового шефа ГПУ Украины, картина «охоты» выглядела удручающе: едва десяток тысяч тонн зерновых — или два процента плана заготовок!<sup>1</sup>

С осени 1932 года стало очевидно, что украинские деревни лишены своих последних запасов. Из деревенских магазинов исчезли последние продукты. Последний этап эскалации репрессий: коллективная депортация всех жителей «злостных» деревень, «вступивших в войну с советской властью», как заявил шестого ноября 1932 года Каганович, выступая перед жителями станицы Медведовская.

Несколькими неделями позже за невыполнение навязанного им нереального «плана заготовок» все жители трех крупных кубанских станиц Медведовской, Урупской, Полтавской, или более сорока пяти тысячи человек были коллективно высланы в Сибирь, на Урал и в Казахстан<sup>2</sup>.

Целью этих принудительных мер было также подавить сопротивление со стороны некоторых руководителей украинской компартии и заставить их выполнить любой ценой план по заготовкам.

Особенно показательна в этом смысле переписка Молотова и Хатаевича, первого секретаря Днепропетровского обкома. Последний в письме, направленном Молотову, пытался объяснить, что экономически нецелесообразно лишать колхозы последних запасов: «для того, чтобы производство хлеба увеличивалось соответственно нуждам и потребностям пролетарского государства, мы должны заботиться о том, чтобы основные производственные и потребительские нужды колхозов и колхозников

---

<sup>1</sup> См. оперативное сообщение о конфискации хлеба, украденного и скрытого на Кубани от 10 ноября 1932 г. в: Bulletin de l'ИНТР, №81–82, 2003, pp. 203–205.

<sup>2</sup> Осколков Е.Н. «Голод 1932–1933 в зерновых районах Северо-Кавказского края»//«Голодомор 1932–1933 pp. в Україні: причини и наслідки. Міжнародна конференція», Киев, 1995, сс. 120–121.

были удовлетворены, иначе они сеять и расширять производство не будут».

«Ваша позиция, — отвечал Молотов в тот же день, — в корне неправильна, небольшевистская. Нельзя большевику отодвигать удовлетворение нужд — *минимальных* нужд, по строго и неоднократно проверенному партией решению — нужд государства на десятое и даже на второе место, на удовлетворение этих нужд из колхозных и других «озадков». Большевик, продумав и проверив их размер и обстановку в целом, должен поставить удовлетворение нужд пролетарского государства во первоочередном порядке»<sup>1</sup>.

Роковые меры, обрекшие десятки миллионов украинских крестьян на голод, были приняты во второй половине декабря 1932 года. Политбюро потребовало «усиления заготовок»; Каганович в сопровождении десятка руководителей партии и ОГПУ отправился в качестве «уполномоченного» на Украину с задачей «занять стратегические области» и принять все меры к выполнению плана заготовок до середины января 1933 года<sup>2</sup>.

Несколько дней спустя Каганович в письме Сталину из Одессы предложил отменить постановление украинской компартии, которым предусматривалось, что только облисполком может в исключительных случаях дать указание о конфискации «семенного фонда» колхозов и его включении в обязательные поставки государству<sup>3</sup>.

Заручившись согласием Сталина, Каганович навязал эту меру руководству украинской компартии. Последняя уступила по еще одному важному пункту: колхозы, не выполнившие «план по заготовкам», обязаны в пятидневный срок отдать свои семенные фонды, последние запасы, позволяющие обеспечить будущий урожай, пусть даже минимальный, или оказать помощь голодающим колхозникам<sup>4</sup>.

Тремя днями позже, руководство украинской компартии приняло резолюцию, продиктованную Сталиным, в которой

---

<sup>1</sup> РГАСПИ, 82/2/141/7476.

<sup>2</sup> РГАСПИ, 17/3/912/54.

<sup>3</sup> РГАСПИ, 81/3/232/62.

<sup>4</sup> РГАСПИ, 81/3/215/25–33.

оговаривалось, что все колхозники и единоличники, у которых будут найдены «укрытые запасы», будут приравнены к «расхитителям социалистической собственности» и осуждены «по всей строгости закона». Репрессии вышли на новый уровень.

В Москве состоялся Пленум Центрального комитета, важное ежегодное событие, собиравшее руководство партии. Сталин признал на нем, что, несмотря на то, что в 1932 году урожай был в целом лучше, чем годом ранее, в заготовительной кампании было немало трудностей. Последние явились следствием «подрывной работы», проводимой «враждебными элементами, проникшими в колхозы», «потери боеспособности сельскими коммунистами», их «немарксистским отношением к коллективному сельскому хозяйству»<sup>1</sup>.

Как и все выступавшие, руководители украинской компартии, некоторые из которых пытались сопротивляться давлению Москвы, воспевали «триумф социализма» и «грандиозный успех первого пятилетнего плана, выполненного за четыре года и три месяца», обходя молчанием реальное положение дел на Украине.

В то же самое время, когда проходил Пленум, принял массовый характер исход крестьян из голодающих районов. Для руководства ОГПУ этот исход был «сознательно организован контрреволюционными организациями».

«Мы арестовали за неделю пятьсот подстрекателей, подговаривавших крестьян к уходу», писал Всеволод Балицкий Генриху Ягоде, главе ОГПУ<sup>2</sup>.

Двадцать второго января 1933 года Сталин лично составил секретную директиву «о предотвращении массового выезда голодающих крестьян», в которой предписывалось немедленно положить конец массовому исходу крестьян, бежавших с Украины и Кубани «за хлебом». «ЦК ВКП и Совнарком СССР», — писал Сталин, — не сомневаются, что этот выезд крестьян, как и выезд из Украины в прошлом году, организован врагами Совет-

---

<sup>1</sup> РГАСПИ, 17/2/514, вып. 1, 6–9.

<sup>2</sup> АПРФ, 3/30/189/3–10.

ской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации «через крестьян» в северных районах СССР против колхозов и вообще против Советской власти.»<sup>1</sup>.

В тот же день Генрих Ягода направил областным руководителям ОГПУ циркуляр, в котором предписывалось ставить, особенно на вокзалах и на железных дорогах, специальные заставы или опергруппы, которые должны были задерживать «беглецов» с Украины и Северного Кавказа.

После «фильтрации» арестованных «кулацкие и контрреволюционные элементы», «лица, распространяющие контрреволюционные слухи о так называемых продовольственных трудностях», а также все те, кто отказывался вернуться домой, должны были быть арестованы и депортированы в «спецпоселения» или для «самых злостных», отправлены в лагерь.

Другие беглецы должны были быть возвращены на место, что обрекало их на неминуемую смерть в деревнях, охваченных голодом и полностью предоставленных своей судьбе без продовольственной помощи извне<sup>2</sup>.

На следующий день, распоряжение, направленное на то, чтобы воспрепятствовать бегству голодающих — и распространению новостей о голоде, существование которого отрицалось властями, было дополнено директивами о приостановлении продажи железнодорожных билетов крестьянам<sup>3</sup>.

В последнюю неделю января было арестовано около двадцати пяти тысяч беглецов. Спустя два месяца после начала операции было задержано более двухсот двадцати пяти тысяч человек, из которых большая часть отправлены домой<sup>4</sup>.

Еженедельные донесения ОГПУ «О мероприятиях по прекращению массового выезда крестьян», направлявшиеся

---

<sup>1</sup> РГАСПИ, 558/11/45/109.

<sup>2</sup> Директива ОГПУ № 50031 от 22 января 1933 г., ЦА ФСБ, 2/11/6/51–52.

<sup>3</sup> РГАСПИ, 17/42/80/9.

<sup>4</sup> Докладная записка ОГПУ №50145 «О мероприятиях по прекращению массового выезда крестьян» от 25 марта 1933 г. // Bulletin de l'INTR, № 81–82, 2003, pp. 246.

напрямую Сталину и Молотову, разумеется, умалчивают о физическом состоянии задержанных.

Редкие, но очень интересные документы относительно того, что происходило в голодающих украинских деревнях, составленные руководством ГПУ Украины, относятся к периоду с февраля по июль 1933 года, периоду апогея голода. Уточним сразу относительную скудость этих источников. В этом отношении показательны инструкции, данные Всеволодом Балицким своим подчиненным: «сообщать о вопросах, связанных с продтрудностями только первым секретарям обкомов и исключительно в устной форме после тщательной проверки фактов.

Это делается с целью избежать того, чтобы докладные по данному поводу гуляли по аппарату, становясь, таким образом, источником слухов..., не писать специальных донесений в ГПУ Украины. Достаточно, чтобы мне сообщали в письмах лично в руки»<sup>1</sup>.

Редкие документы, открытые в Центральном архиве ФСБ<sup>2</sup> (которые интересно сравнить с другими внутренними донесениями, написанными чиновниками различных уровней, более красноречивыми по данному сюжету, демонстрирующими, что «тайна» голода была лишь секретом Полишинеля<sup>3</sup>), отражают полицейское представление о «продовольственных трудностях», которые приписывались «саботажу, устроенному в сельском хозяйстве Украины кулацкими и контрреволюционными элементами, внедрившимися в колхозы, совхозы...»<sup>4</sup>.

Особенно показательными в этом смысле являются свидетельства С. Крауклиса, главы днепропетровского ГПУ, ка-

---

<sup>1</sup> Телеграмма В. Балицкого Г. Ягоде от 22 марта 1933 г. ЦА ФСБ, 2/11/3/12–14.

<sup>2</sup> Публикуются в сборнике документов под редакцией В. П. Данилова «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД», т. III/2 (1932–1934). Подборку этих документов в переводе на французский и с комментариями Н. Верта можно найти в Bulletin de l'ИНТР, № 81–82, 2003, p. 340.

<sup>3</sup> См., напр., донесения работников ЦИК с мест, охваченных голодом в: Nicolas Werth, Gaël Moullec, *Rapport secrets soviétiques. La société russe dans les documents confidentiels*, 1921–1991, Paris, Gallimard, 1995, pp. 152–159.

<sup>4</sup> См. письмо В. Балицкого руководителям местных отделений ГПУ от 19 марта 1933 г., ЦА ФСБ 2/11/971/145–147.

сающиеся вскрытий, проводимых его службой для определения «точных причин смерти» голодающих (действительно ли они умерли от голода? Не имела ли место «вражеская провокация»?) или случаев каннибализма и поедания трупов, о которых рассказывается с равнодушием этнолога, описывающего «дикие нравы примитивного народа»<sup>1</sup>.

Призрак восстания голодных крестьянских масс, об «антисоветских» настроениях которых систематически сообщали (особенно в сводках выдержек из писем, написанных крестьянами и перехваченными бдительной цензурой<sup>2</sup>), также ясно проявляется в донесения руководства ОГПУ.

В разгар голода продолжались депортации десятков тысяч голодных крестьян, разрабатывались «грандиозные» планы депортации миллионов «кулацких, контрреволюционных и социально опасных элементов»<sup>3</sup> при одновременном усилении силового давления из-за страха перед крестьянскими восстаниями<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Письмо С. Крауклиса В. Балицкому от 5 марта 1933 года (ЦА ФСБ 2/11/56/207/209); письмо руководителя киевского ГПУ В. Балицкому от 12 марта 1933 года (ЦА ФСБ 2/11/971/131–133). Он пишет в том числе, «можно даже сказать, что каннибализм стал привычкой. У нас есть случаи, когда люди еще в прошлом году подозревавшиеся в людоедстве, вновь убивают детей, знакомых и даже незнакомых на улице. В деревнях, пораженных людоедством, каждый день укрепляет людей в мысли о приемлемости употребления в пищу человеческого мяса. Это мнение особенно распространено среди голодающих и детей».

<sup>2</sup> См., например, сводку (от 1 марта 1933 года) выдержек из писем, отправленных молодым красноармейцам, проходящим службу в Северо-Кавказском военном округе, перехваченных военной цензурой, ЦА ФСБ, 2/11/56/51–64.

<sup>3</sup> См., напр., план депортации в Сибирь и Казахстан 2 миллионов человек, предложенный в начале февраля 1933 года Сталину руководителем ОГПУ Г. Ягодой и шефом Гулага Матвеем Берманом. Что касается этого проекта и его частичного осуществления, позволю себе отослать читателя к моей последней работе: *L'île aux cannibales. 1933, une déportation-abandon en Sibérie*, Paris, Perrin, 2006.

<sup>4</sup> См. протокол заседания Политбюро ЦК от 12 марта 1933 года, в ходе которого было решено расширить полномочия украинского ГПУ в области «борьбы с массовыми волнениями» и «расширения применения высшей меры социальной защиты» (смертной казни), РГАСПИ, 17/162/14/89–96.

Донесения ОГПУ показывают также, насколько условна бухгалтерия жертв голода, когда сотрудники сельских советов, зачастую голодающие сами из-за настоящей блокады, устроенной целым районам за невыполнение «священных обязательств перед государством», не вели больше записи актов гражданского состояния; кроме этого, зачастую мертвецов даже не хоронили или зарывали в общих могилах<sup>1</sup>.

Среди других важных вопросов, поднятых этими новыми источниками, и вопрос о продовольственной помощи, предоставляемой некоторым регионам, затронутым голодом. Как показали недавние исследования<sup>2</sup>, в период с января по июнь 1933 года, когда голод достиг наибольших масштабов, центральные власти приняли не менее тридцати пяти постановлений о помощи регионам, испытывающим «продовольственные трудности». Реально оказанная помощь составляла приблизительно триста двадцать тысяч тонн, что в пересчете на тридцать миллионов голодающих составляло лишь десять килограммов зерна на человека, или едва три процента общего среднегодового потребления крестьянина!

В 1932 году СССР экспортировал одну тысячу семьсот тридцать тысяч тонн зерновых; в 1933 — одну тысячу шестьсот восемьдесят тысяч тонн. Кроме того, государственные запасы на начало 1933 года превышали одну тысячу восемьсот тысяч тонн<sup>3</sup>. Какая часть этой смехотворной продовольственной помощи дошла до деревень? Без сомнения, минимальная, поскольку большей частью воспользовались города Украины и Северного Кавказа, сами страдающие от голода<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> См. ЦА ФСБ, 2/11/880/1–3; там же, 2/11/971/112–118.

<sup>2</sup> Robert W. Davies, Mark B. Tauger, Stephen Wheatcroft, “Stalin, Grain Stocks and the Famine of 1932–1933” // *Slavic Review*, 1995/3, pp. 642–657; Гинзберг Л. И. «Массовый голод в сочетании с экспортом хлеба в начале 1930 годов. По материалам особых папок Политбюро» // *Вопросы истории*, 1999, № 10, сс. 36–52.

<sup>3</sup> См. предисловие Зеленина И. Е. к третьему тому сборника документов под ред. В. П. Данилова «Трагедия русской деревни», цит. соч., (прим. 1), сс. 7–47.

<sup>4</sup> Васильев В., Шаповал Ю., цит. соч., сс. 104–105. От том, что лишь незначительная часть выделенной помощи действительно достигала пун-

Инструкции Всеволода Балицкого «О мерах в связи с продовольственными трудностями» от 19 марта 1933 года уточняли, что срочная продовольственная помощь, предоставляемая «на классовой основе», предназначалась исключительно «тем, кто ее заслуживает, то есть в порядке убывания колхозникам, выработавшим достаточное количество трудодней, бригадирам, работникам МТС, семьям военнослужащих Красной армии, колхозникам и единоличникам, готовым вступить в колхоз».

По сути, в циркуляре Балицкого перечислялись репрессивные меры, которые должны были быть приняты против «паразитирующих контрреволюционных кулацких элементов и врагов любого рода, которые пытаются эксплуатировать продовольственные трудности в собственных контрреволюционных целях, распространяют слухи о голоде и о различных «ужасах» и намеренно не хоронят трупы»<sup>1</sup>.

Весной в донесениях ГПУ Украины чувствуется беспокойство по еще одному поводу: как добиться в голодающих регионах проведения посевной кампании? Вспоминается предупреждение, адресованное еще в ноябре 1932 года вторым секретарем украинской компартии Хатаевичем Молотову:

«Скоро они сеять и расширять производство не будут». Несколько месяцев спустя это стало реальностью. Ослабшие колхозники, пережившие голод, с трудом, как не без цинизма признают авторы донесений, возвращались к работе: «те немногие, кто еще работает, не способны выполнять нормы, вследствие этого они получают недостаточно хлеба и начинают пухнуть»<sup>2</sup>.

Чтобы справиться с острой нехваткой рабочей силы на селе, власти мобилизовали часть городского населения, от-

---

тков, охваченных голодом, сошлемся на примере Казахстана на письмо видного казахского политического деятеля Турара Рыскулова Сталину от 9 марта 1933 года. Перевод и комментарии см. в Nicolas Werth, "Une famine méconnue: la famine kazakh de 1931–1933" // *Communisme*, № 74–75, 203, pp. 8–42.

<sup>1</sup> Письмо В. Балицкого от 19 марта 1933 года, см. прим. 37.

<sup>2</sup> Доклад полномочного представителя Северо-Кавказского ГПУ о продовольственных затруднениях в Ейском округе от 21 апреля 1933 года, ЦА ФСБ, 2/11/56/95–98.

правленного на поля<sup>1</sup>, а затем приступили к массовым переселениям «колонистов» из других регионов СССР: в 1933–1934 годах в опустошенные голодом края было перемещено более двухсот тысяч крестьян, причем большая часть из них были уволенные в долгосрочный отпуск красноармейцы.

Последний пункт, упоминаемый в донесениях ОГПУ об украинских и северо-кавказских деревнях в 1932–1933 годах — необычайное ожесточение, сопровождавшее голод. Оно выражалось всплеском сельского бандитизма и ростом насилия в повседневной жизни в мире, травмированном постоянным голодом: линчевания воров, в том числе детей, пойманных при попытке стащить несколько овощей с грядки, самосуды, устраиваемые самими крестьянами, пытки, различные вымогательства, оставление детей, каннибализм и поедание трупов... Исключительное по своим масштабам насилие, которое режим и его представители осуществляли по отношению к населению, привел к тому, что его жертвы сами стали его проводниками.

В мае двухтысячи третьего года парламент Республики Украина официально признал голод 1932–1933 годов геноцидом сталинского режима против украинского народа. Термин, которым сегодня на Украине пользуются для обозначения голода, *голодомор*, недвусмысленен: это результат слияния двух слов, голод и *морить* («убивать лишением пищи, истощать»): таким образом, акцент ясно ставится на искусственный характер явления.

Не все историки, как русские и украинские, так и западные, занимавшиеся данным вопросом, единодушны в определении голода 1932–1933 годов, как геноцида.

---

<sup>1</sup> Вот что писал по этому поводу (20 июля 1933 года) консул Италии в Харькове: «Мобилизация городских сил приняла неслыханные масштабы. [...] На этой неделе в село направили по меньшей мере 20 тысяч человек. [...] Позавчера окружили рынок, взяли всех трудоспособных людей, мужчин, женщин, подростков обоего пола отвели на вокзал под охраной ГПУ и отправили на поля» (Andrea Graziosi, “*Lettres de Kharkov...*”, art. cit., p. 77)

Схематично можно выделить два основных течения. С одной стороны, историки, которые видят в голоде явление, искусственно организованное сталинским режимом для подавления сопротивления украинских крестьян колхозной системе и уничтожения украинской нации, которая представляла собой серьезное препятствие на пути трансформации СССР в империю нового типа с преобладающим влиянием России. Эти историки поддерживают тезис о геноциде.

С другой стороны, есть историки, которые, признавая преступный характер сталинской политики, считают необходимым изучение всех случаев массового голода казахского, украинского, западносибирского и поволжского, как сложного явления, в котором помимо «имперских устремлений» Сталина сыграли важную роль многочисленные факторы от геополитической ситуации до необходимости ускорения индустриализации и модернизации<sup>1</sup>.

Для этих историков термин «геноцид» к голоду 1932–1933 годов на Украине и Кубани неприменим.

До последнего времени я сам был склонен разделять эту точку зрения<sup>2</sup>. Недавние работы Терри Мартина, особенно его воспроизведение «национальной интерпретации» голода Сталиным, недавно рассекреченная переписка Сталина с Кагановичем, опубликованные Юрием Шаповалом и Валерием Васильевым документы, которые я здесь в изобилии цитировал, убедили меня в специфичности украинского голода по отношению к другим явлениям такого порядка 1931–1933 годов.

Те являются прямыми, но непредвиденными, незапрограммированными последствиями политики, проводимой с конца

---

<sup>1</sup> По развитию историографии голода на Украине см. увлекательную статью Андреа Грациози: Andrea Graziosi “Les famines soviétiques de 1931–1933 et le *Holodomor* ukrainien. Une nouvelle interprétation est-elle possible et quelles en seraient les conséquences?” // *Cahiers du monde russe*, vol. 46/3, juillet-septembre 2005, pp. 453–472.

<sup>2</sup> Позволю себе отослать читателя к своей статье “Comment Staline a-t-il affamé l’Ukraine?” (*L’Histoire*, № 188, p. 78–86) и к главе “La grande famine” в *Livre noire du communisme*, Paris, R. Laffont, 1997, pp. 43–295.

1929 года: насильственной коллективизации, раскулачивания, введения колхозной системы, конфискации урожая и скота.

До лета 1932 года украинский голод имеет точки соприкосновения с другими, которые к тому же начались раньше, но с лета его характер меняется, как только Сталин решает намеренно увеличить его масштабы, чтобы наказать украинских крестьян, сопротивлявшихся «новому крепостному праву».

Крестьян наказали тяжелее всех — голодом и смертью в чудовищных условиях миллионов человек. Но другому виду репрессий, на этот раз полицейских, одновременно подверглись местные чиновники, интеллигенция, которых арестовывали и сажали в тюрьмы.

В декабре 1932 года двумя тайными постановлениями Политбюро на Украине — и только на Украине — был положен конец политике «коренизации» кадров, проводимой с 1923 года во всех федеративных республиках; украинский «национализм» перестал существовать<sup>1</sup>.

Ныне, основываясь на новых данных, мне кажется справедливым квалифицировать как геноцид действия сталинского режима, направленные на наказание голодом и террором украинского крестьянства, действия, следствием которых стала гибель более четырех миллионов человек на Украине и на Северном Кавказе.

Тем не менее, *голодомор* сильно отличался от холокоста. Речь не шла о полном уничтожении украинского народа. Он не основывался на прямом убийстве своих жертв. Он разрабатывался, исходя из политических, а не этнических или расовых соображений.

Тем не менее, по количеству жертв Голодомор, рассматриваемый в историческом контексте, единственное событие XX века в Европе, которое можно было бы сравнить с двумя другими геноцидами: геноцидом армян и Холокостом.

---

<sup>1</sup> См. Terry Martin, *op. cit.*, chap. VII, pp. 273–308.

Майя Полехина

**«Путь комет — поэтов путь»:**

*о судьбе художника в поэзии*

*русского Зарубежья первой трети XX века*

В художественной традиции русской эмиграции начала XX века, вбирающей опыт культурных и общечеловеческих ценностей, концепт судьбы поэта связывался с идеей предопределенности, неотвратимости и особого предназначения художника.

Судьба виделась, прежде всего, как предпосланный человеку дар, смысле его существования, отождествленный с самой его сущностью: с одной стороны, художник обладает свободой выбора в реализации возможностей своей судьбы, с другой, на нем лежит большая ответственность за распоряжение своим предназначением.

Трагическое переживание неполноты бытия, утраты гармонического единения с окружающим миром, ощущение глобального раскола культурного и природного, видového и индивидуального начал, стремление преодолеть этот кризис посредством искусства во многом определили внутреннее состояние творческой личности на пороге великих потрясений.

Ощущение своей особой миссии было столь велико в каждом русском художнике, что давало основание говорить об актуализации профетической тенденции, которая может быть представлена как концепт *«пути поэта»*.

Мессианство, эсхатологизм и склонность к профетизму, по мнению Николая Бердяева, особым образом определили судьбу

поэта в России как поборника справедливости, «совести нации», обличителя и провидца. Справедливо отметить, что эти характеристики не зависели от направления творчества художника, школы, к которой он принадлежал, течения и социального положения.

Предваряя размышления о концепте *путь поэта* в литературе русского Зарубежья лингвоисторическим экскурсом, заметим, что символическая семантика концепта *путь* в основной своей части была усвоена из христианской традиции и корнями уходила в греко-византийскую и иудейскую древность. В качестве важнейшего источника символизации концепта пути упоминается библейский текст «Азъ есмь путь, истина и животъ» [Ио., 14.6.], который является одним из самых сакральных мест Священного писания. Лексема — путь в данном случае обретает символическое значение: это «линия, модель праведного поведения, жизни и мировосприятия».

Обогащение семантики и фразеологии данной лексики связано с библейской притчей о вратах небесных. Тесный путь — узкий, прискорбный — рассматривался как «путь праведной жизни», широкий — «путь жизни греховной». В концепте пути обнаруживается и значимая оппозиция жизнь — смерть, где последнее мыслилось как переход в иной мир, достичь который можно, преодолев продолжительные и нелегкие препятствия.

Таким образом, концепт пути актуализирован в коллективном национальном сознании как комплекс составляющих. С одной стороны, это жертвенный путь во имя высоких духовных ценностей, с другой стороны, — вечный путь.

Путь поэта в России, а в эпоху великих потрясений это стало всеобъемлющим явлением — это путь, исполненный испытаний, неустроенности, борьбы и вечной неудовлетворенности; это зачастую трагический путь во имя счастья человека и утверждения вечных ценностей. По мнению Александра Долина, «вдохновенный профетизм», характерный для русского художника, придавал русской литературе, и особенно поэзии, духовную наполненность, пассионарность и космизм. В своих размышлениях о судьбах поэтов автор ссылается на размышления Владислава Ходасевича — «Кровавая пища» о пути поэта в России и о характере русского мессианства: «До такого из-

ничтожения писателей, не мытьем так катанием, как в России, все-таки не доходили нигде... Это потому, что ни одна литература не была так пророчественна, как русская. Если не каждый русский писатель пророк в полном смысле слова как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, то нечто от пророка есть в каждом, живет по праву наследства и преемственности в каждом, ибо пророчествен самый дух русской литературы..

Кажется, в страдании пророков народ мистически изживает собственное свое страдание. В жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов по сокровенной природе своей таинственно, ритуально. В русской литературе оно прекратится тогда, когда в ней иссякнет родник пророчества. Этого да не будет».

Жертвенность, готовность принести личные интересы на алтарь служения высшей истине predeterminedили трагическую судьбу русских художников в России и за ее пределами в первые пореволюционные годы, мученический венец стал привычным атрибутом поэтического сознания. Эта особенность органична самой идее мифопоэтической историософии России: Россия несет тяжелый крест во имя спасения человечества.

Обольщения, катастрофы и заблуждения выпали на долю ее народа, но из всех испытаний Россия выйдет окрепшей и обновленной. Своей искупительной жертвой российский народбогоносец показывает путь другим народам: *«Из крови, пролитой в боях, / Из праха обращённых в прах, / Из мук казнённых поколений, / Из душ крестившихся в крови, / Из ненавидящих любви, / Из преступлений, исступлений — / Возникнет праведная Русь»*, — было задано интенцией Волошина. Эта мысль была подхвачена русской эмиграцией и на долгие годы определила ее надежды и настроения. Через собственный экзистенциальный опыт определяющим становится для поэта фактор утраты, задающий ракурс нового видения и переживания утраченного.

В результате складывается некий миф о родине как благословенном месте Исхода, куда изгнанник обречен возвращаться в мыслях и сновидениях (мечтах), который формируется в пространстве эмигрантской «мысли о России». *«Господи, дай увидеть! / Молюсь я в часы ночные. / Дай мне еще увидеть /*

*Родную мою Россию. / Как Симеону увидеть / Дал Ты, Господь, Мессию, / Дай мне, дай увидеть / Родную мою Россию», — писала Зинаида Гиппиус («Господи, дай увидеть»).*

Обращаясь к судьбе русского художника, Долин называет те сущностные черты, которые и определяют его путь. Вне зависимости от своего положения, возраста и жизненного опыта поэт, по мнению исследователя, всегда радуется о счастье отечества и живет во имя высшей истины.

В своей мессианской ипостаси поэт выступает в оппозиции к любой власти, исходя из соображений высшей справедливости и христианских представлений. Он всегда готов на самоограничения, ригоризм, искупительные жертвы и, если потребуется, на страдания и даже смерть во имя нравственных идеалов.

Художник всегда чувствует мистическую связь со своим отечеством, народом и всегда готов разделить участь своего народа. Он чувствует себя посланником вечности, вершителем истории, призванным нести в своих произведениях смысл происходящего, прошлого и будущего.

Как было сказано выше, каждого значительного художника питала вера в мессианское предназначение России, в ее возрождение в новом качестве, в преображение мира на основе высшего нравственного императива, и каждый видел свое обязательное соучастие в этом процессе: *«Так и душа моя идет путем зерна: / Сойдя во мрак, умрет — и оживет она. / И ты, моя страна, и ты, ее народ, / Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, — / Затем, что мудрость нам единая дана: / Всеми живущему идти путем зерна», —* писал Владислав Ходасевич. Творчество рассматривалось поэтом как форма послушания «вельню Божию», но, по мнению поэта, есть еще и воля художника, которая «проявляет высшие смыслы согласно собственной природе».

Для Ходасевича поэзия — чудо художественного преображения жизни, а путь поэта — это путь творца, утверждающего смысл духовных открытий в совершенной художественной форме. Драматизм ситуации заключался в несовместимости трепетной души поэта и жестокой реальности, что нередко оборачивалось обреченностью всего сущего: *«Тяжек твой подлунный мир, / да и Ты немилосерд. / И к чему такая ширь,*

/ *Если есть на свете смерть?* «...душа оказывалась лишенной возможности исполнить свою миссию, как бы предоставленной самой себе, пораженной своим одиночеством и бесцельностью своего существования».

Художники трагической эпохи богоискательства и богоотступничества, каждый по-своему переживали кризис веры, неотступно мучаясь сомнениями и экзистенциальным томлением. Ни Мережковский, ни Бальмонт, ни Гиппиус, ни Иванов, ни Цветаева не были последовательными православными христианами, хотя считали причастность религии главным условием всякого творчества.

Концепция творчества как теургии придавала особый характер профетическим тенденциям русской поэзии первых десятилетий XX века. В эстетике утверждался образ поэта-пророка, медиума Мировой души и носителя божественного вдохновения. «Для меня поэт – вестник, и мне никогда не безразлично, что он возвещает», – провозглашал Ходасевич. Воспитанные в русле отечественной духовной и культурной традиции, поэты оставались носителями «русского мировоззрения», сущность которого Франк сформулировал как стремление «к конкретной и всеобъемлющей истине, совпадающей со справедливостью или святостью».

Рассматривая судьбу поэта как судьбу избранника, вознесенного над миром, Бунин говорил о дарованной Богом способности вспомнить в себе первочеловека в целостности его чувственно-душевных проявлений. Концепт *пути* становится важнейшим структурообразующим компонентом языковой и понятийной картины мира позднего Бунина. Это всегда восхождение, «*путь комет – поэтов путь*» по словам Марины Цветаевой.

Конечная точка такого пути метафорически определяет как выход за пределы пространственно-временных связей. Говоря о пути поэта, его «вознесенности» над миром, Бунин в стихотворении «Звезда дрожит среди вселенной», обращается к образу чаши для причастия, актуализирует метафору бытия поэта, подчеркивая его жертвенное, «евхаристическое» служение людям. «Земные скорби» и «небесные слезы»

символизируют не только «всеведение поэта», но и его духовный опыт: в самой полной мере испивается им «чаша жизни». «Вознесенность над миром» может быть истолкована и как особое положение человека как венца творения в мироздании. В этом смысле Бунин как поэт истинный стал пророком «вспоминающим».

Поэт примеряет на себя роль Творца, земного ваятеля; он сам творит свой собственный Космос. И платит за эту дерзость высокую цену, обрекая себя на одиночество: *«...Золотой недвижимый свет/ До постели лег./ Никого в подлунной нет,/ Только я да Бог// Знает только он мою/ Мертвую печаль,/ Ту, что я от всех таю.../ Холод, блеск, мистраль».*

Одиночеством и трагической отчужденностью пронизаны стихотворения поэта «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...», «Пылай, играй стоцветной силою, неугасимая звезда», «Гляжу вокруг, остановив коня, И древний человек во мне тоскует...». Почти во всех текстах Ивана Бунина эмиграционного периода звучат мотивы смерти, разлуки, конца пути поэта.

О трагической судьбе художника, которую считал и для себя неизбежной, писал Дмитрий Мережковский в стихотворении «Смерть Надсона»: *«Поэты на Руси не любят долго жить:/ Они проносятся мгновенным метеором,/ Они торопятся свой факел потушить,/ Подавленные тьмой, и рабством, и позором./ Их участь — умирать в отчаянии немом;/ Им гибнуть суждено, едва они блеснули,/ От злобной клеветы, изменнической пули/ Или в изгнании глухом».*

Преждевременное завершение жизненного пути придавало самому концепту *судьба* экзистенциальный смысл. Человек не смиряется со своей судьбой, активно противостоит ей. Духом своим он опровергает мысль о ничтожности человека, вновь и вновь пытаясь проникнуть в область запредельного, познать сущность Вечной Истины.

Мир, творимый поэтом, разительным образом отличается от того мира, в котором ему приходится жить. Изменить что-либо художник оказывается не в силах, но он не может и смириться с собственными пределами, с безысходностью судьбы. «Задуть собственную свечу» становится его последним пра-

вом: *«Пора снимать янтарь, /Пора менять словарь, /Пора гасить фонарь / Наддверный...»*, — писала Цветаева.

Волна самоубийств, охватившая мир в двадцатые годы, побудила Николая Бердяева обратиться к этой проблеме в психологическом этюде «О самоубийстве», работе, изданной в Париже в тридцать первом году. Причину столь опасного явления Бердяев склонен видеть в пошатнувшейся вере человека. «Борьба против упадочности и склонности к самоубийству есть прежде всего борьба против психологии безнадежности и отчаяния, борьба за духовный смысл жизни, который не может зависеть от преходящих внешних явлений», — утверждал он. Суицид он склонен рассматривать актом насилия над жизнью и смертью.

Жертвенность в произведениях Марины Цветаевой в двадцатых–тридцатых годах стала мотивом обреченности на жертву. Марина Цветаева шла к своему трагическому концу через образы своих героинь — Федру, Ариадну, лирическую героиню «Поэмы Конца» и «Поэмы Воздуха», многочисленные посвящения друзьям, ушедшим в небытие.

И в этом смысле, по утверждению Юрия Лотмана, «от слов Гамлета до размышлений Вертера, от романов Достоевского до цветаевского «отказываюсь быть» самоубийство вбирало в себя идею высшего бунта».

В письме к Рильке в мае двадцать шестого года Цветаева признавалась: «Смерть любого поэта, пусть самая естественная, противоестественна, т.е. убийство, поэтому нескончаема, непрерывна, вечно-ежедневнонодлежащая. Пушкин, Блок и чтобы назвать всех разом — ОРФЕЙ никогда не может умереть, поскольку он умирает именно теперь (вечно!). В каждом любящем заново, и в каждом любящем — вечно». Поэтому — никакого примирения, пока мы сами не станем «мертвыми».

Размышляя об избранных Богом и отверженных землей поэтах, Цветаева обращается на страницах журнала «Своими путями» к Бальмонту: «Что поэт назовет здесь своим — кроме пути? Что сможет, что захочет назвать своим, — кроме пути?» И сама же отвечает: «*Путь — единственная собственность «беспутных»!* Единственный возможный для них случай соб-

ственности и единственный, вообще, случай, когда собственность — священна: одинокие пути творчества».

Шевеленко, современный исследователь Цветаевой, назовет позицию поэта «максимальной автономизацией собственного бытия, от которого после смерти не должно остаться «земных примет»: *«Ибо раз голос тебе поэт/ Дан, остальное — взято»*.

Ведь как утверждалось самой Цветаевой, «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. Эмигрант Царства небесного и земного рая природы. (...) Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо». Творчество — это единственная данная поэту форма реакции на жизнь, — считала Цветаева.

Об избраннической судьбе поэта, его одиночестве и гордо стоической позиции перед земными соблазнами повествует Цветаева в стихотворении «Но тесна вдвоем...», истории одержимого духа, рвущегося в поднебесье... *«Ты и путь, и цель/, Ты и след, и дом./ Никаких земель/ Не открыть вдвоем.// В горный лагерь лбов/ Ты и мост, и взрыв./ (Самовластен — Бог/ И меж всех ревнив)»*.

Истинный художник, поэт всегда над повседневностью, над бытом и преходящими явлениями, так как подлинных высот достигают лишь одиночки. Жемчугом, рожденным «в голосовом луче», зачастую в «горечи певчих горл» представляется в лирике Цветаевой поэтическое творение «Леты подводный счет...». И если на раннем этапе своего творческого пути Цветаева полагала, что ни одним своим самым совершенным произведением не исчерпываются возможности художника: «Творец, это все завтрашние творения, все Будущее, вся неизбежность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое — неучтимо — в неучтисмости своей непобедимое: завтрашний день», позднее стало очевидным, что творчество — это высшая ценность для поэта и итог всей его жизни. «...Поэт обречен на познание видимого, то есть жизни, дабы у него был язык — система образов, на который можно было бы перевести «умыслы», свое знание «невидимого». Необходимость познания видимого и есть трагедия поэта, поскольку именно соприкосновение с земным миром чревато для него вовлечением в орбиту человеческих страстей».

Тема трагической судьбы поэта определяет своеобразие интонации в лирике зрелой Цветаевой: *«И не жалость: мало жил, / И не горечь: мало дал. / Много жил — кто в наши жил / Дни: все дал, — кто песню дал»*. Единственным богом поэта остается его муза. Художник обречен на свое детище, свою песню, это его доля, от которой не освобождает его даже смерть: *«А может, лучшая победа / Над временем и тяготеньем — / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени / На стенах...»*

И высшая истина для поэта, весь смысл его *пути* заключается в том, по Цветаевой, чтобы не только откликнуться на «зов жизни», но и исполнить волю «высших сил». Творчество имеет небесных покровителей, — полагала Цветаева, и соучаствует в нем не только мир, от притяжения которого жаждет избавиться творец, но и та высь, та «огнь-синь», куда, в конечном счете, и устремляется художник.

Насколько изменились представления художника о своей миссии сегодня! Если для поэтов первой волны русской эмиграции были характерны профетизм, мессианство, высокая духовность и в высшей степени манифестированное отрицание быта, повседневности, декларирование гордой/честной бедности, жесткое подчинение любой формы общения литературе, поэзии, творчеству; при этом выстраивалась определенная цепочка ключевых оппозиций: творчество—быт, литература—повседневность, художник — обыватель, сакральное — профанное, и эта тенденция была распространена как на старшее, так и на младшее поколение эмигрантов, то для современных литераторов русского Зарубежья характерен слом вышеназванных представлений.

Новая литература тяготеет к иным измерениям: постулируется мысль о том, что настоящая жизнь только и начинается в эмиграции, вне пространства аскетичного «советского» мира. Сам мотив мессианства пародируется, а факт эмиграции трактуется не как трагедия, а как смена негативных обстоятельств на позитивные.

Происходит десакрализация околολитературных событий, пристальное внимание обращено к быту, его деталям,

иногда можно говорить об эстетизации быта и повседневности. Освоение чужой культуры не выносится за рамки художественного текста, а напротив, вводится в сюжет, становится его существенной частью, а иногда даже стержнем художественного текста.

Художественные способы освоения новой жизни, нового пространства связаны с утверждением жизнелюбивой эстетики, поэтизацией телесного мира, несколько ироническим отношением к смерти, к трагическому.

Особенностью сегодняшнего мироощущения художника становится смена парадигм: утверждается самоценность, самодостаточность собственной личности, индивидуальности. Однако, противопоставляя себя поэтам первой волны русской эмиграции, художник настаивает на том, что его этическая и эстетическая позиции связаны с Россией и ее культурой.

Можно говорить о становлении сегодня определенной модели судьбы поэта. Это люди нового склада, транслирующие свой индивидуальный творческий опыт в мировую культуру глобализованного мира. Качественно меняется суть его пребывания за пределами родины: литератор свободно перемещается в пространстве, чувствует себя свободной личностью, пишет о «переформировании чужого в свое», сохраняя в памяти топографию прошлого и продуцируя «двойную лояльность» по отношению к происходящему.

Это способствует расширению культурного пространства русской литературы, взаимодействию и успешному диалогу разных культур.

Однако очень важно, чтобы в новых условиях своего пребывания, обеспечивающих духовную свободу и физическую безопасность, художник не утратил своей социальной значимости, так как для русского человека этот компонент остается наиважнейшим, поскольку, по утверждению Иосифа Бродского, «стремление к значимости часто составляет основу его литературной биографии».

## Коротко об авторах

Ботева Валентина Юрьевна родилась и живет в Донецке (Украина).

Окончила химико-технологический институт.

Стихи пишет с юности, живописью занимается с самого детства.

Почти не имеет публикаций. Лишь несколько стихотворений напечатаны в журнале «Континент» по представлению поэта Инны Лиснянской.

В ГРАНЯХ были опубликованы поэтические циклы: «И снова за разлукой встреча» № 180, «Обочин горькую полынь... № 191, «Ход времени — всего лишь дней уход № 210, «...Были избы соломой крыты... № 211, «...В запредельности взгляда» — № 229; «...Перечитывая Гёте» — № 233; «...В сплетение слов и дыханий» — № 241–244 («Тарусские страницы»).

В о р о б ь е в Олег Александрович родился в Москве в 1966 году.

Окончил в 1989 году Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, а в 1995 — Академию Народного Хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации.

Консультант Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

Занимается исследованиями в области современной истории, в частности, «сменовеховским» движением.

Публиковался в «Независимой газете», журналах «Исторический архив», «Государственная служба» и других.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 192) читатель, благодаря О. В., познакомился с перепиской (1920–1922) Н. В. Устрялова и кн. Л. В. Голицыной, в № 201 с фрагментами «Переписки Н. В. Устрялова с разными людьми», письма хранятся в коллекции Н. У. Архива Гуверовского Ин-

ститута войны, революции и мира при Стенфордском университете в Калифорнии (США); в № 209 с материалом «Психологические мотивы сменевеховства».

В № 217 опубликовано его политическое эссе «Ксенофобия как осознанный выбор», в № 220 — «Мир изначально добр, в нем нет зла», в № 225 «90-летию Октября посвящается...»; «Чего так боятся эти люди? Оружейная свобода в Китае» и не только № 246.

**Дорошенко Александр Викторович.** Родился в апреле 1943 года. Закончил Одесский холодильный институт. Защитил докторскую диссертацию. Выпустил пять профессиональных монографий по теплофизике, холодильной технике и солнечной энергетике. Две монографии вышли в США.

Написал талантливые книги (или талантливо написал) и издал: «Поэма о Городе», «Переправа через Стикс», «Сентиментальное Путешествие», «Атлантида Евреев».

В ГРАНЯХ печатается впервые.

**о. Владимир Зелинский.** Православный священник, философ, богослов.

Родился в Ташкенте, в эвакуации, в 1942 году.

С 1943 жил в Москве. Окончил филфак МГУ.

Автор книг «Взыскую лица Твоего», «Наречение имени», «Открытие Слова», «Приходящие в церковь» и других.

Активный участник множества международных религиозных форумов, конгрессов, конференций. Его перу принадлежат сотни статей по самым смелым богословским и одновременно остро современным вопросам.

Пишет по-русски, по-французски, по-итальянски и по-английски. С 1991 года живет в Италии. Служит в г. Брешия (Северная Италия). Преподает в местном университете.

В ГРАНЯХ опубликован богословский материал «Детство и царство» в № 243–244 («Тарусские страницы»).

**Калашников Владимир Леонидович** родился в 1965 году в Минске, где закончил среднюю школу и физический факультет Белорусского государственного университета по специальности теоретическая физика.

Прошел срочную службу в рядах Советской армии, воздушно-десантные войска. После окончания аспирантуры при Белорусском государственном университете защитил диссертацию, работал в различных научно-исследовательских институтах Минска, преподавал в Белорусском государственном техническом университете.

Доктор философии.

С 2001 года живет с семьей в Вене, работает в Венском техническом университете.

С 80-х годов активно занимается вопросами платонизма и христианского богословия. Решающее влияние на философское самоопределение В. К. оказали Вл. Соловьев, А. Лосев, С. Аверинцев и, конечно, собственно античные платоники — от Платона до Прокла. В круг его философских интересов входит средневековая философская традиция, как платоническая, так и аристотелевская, а также ренессансный и кабалистический неоплатонизм.

С 90-х годов занимается литературно-философской эссеистикой, что выразилось в цикле эссе, посвященных творчеству А. Лосева, А. Блока, М. Цветаевой, Вяч. Иванова, А. Платонова и Дж. Джойса. Активно публикуется — в журналах «Вопросы философии», «Дон», «Венский Литератор», «Берега Тавриды», «Муза», «ВеликоросЪ» и других литературных альманахах, выступает с докладами.

Член Союза русскоязычных писателей Австрии.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

К о р н и л о в а - Б а с о в а Ирина Борисовна. Родилась в Ленинграде.

Выросла в Крыму, в Москве окончила биологический факультет университета.

В 1980 году вместе с мужем и детьми эмигрировала из СССР во Францию.

С 1982 по 1992 год работала редактором и состояла членом редколлегии газеты «Русская мысль» (Париж).

Ее стихи в разные годы были напечатаны в журналах «Нева», «Неман», «Грани», в альманахе «День поэзии». Автор двух поэтических сборников, вышедших в Санкт-Петербурге в 1994 и в 2003 годах, и книги «Римский дивертисмент», изданной в Вероне (Италия).

Как журналист и эссеист публикуется во французской и русской периодической печати.

Дочь русского поэта Бориса Корнилова, погибшего в сталинских застенках.

Живет в Париже.

В ГРАНЯХ № 229 опубликовано ее литературное эссе «Поэт и эмиграция», в № 230 поэтическая подборка «...И символы неясные любви», в № 245 «О гибели, о славе, о любви», где речь идет о судьбе отца.

Немировский Александр Петрович. Поэт, писатель, программист, антрепренер.

Родился в 1963 году в Москве. Писать стал с четырнадцати лет.

С 1980 до 1986 года выпустил семь сборников в тогдашнем самиздате. Даже было несколько редких публикаций в советской России до 1989.

С 1990 года живет в Калифорнии. Регулярно печатается в различных литературных альманахах и изданиях в США и в Финляндии.

Автор трех сборников стихов: «Без Читателя» (Москва 1996), «Уравнение разлома» (2009), «Система Отчета» (2012).

С 1987 пишет стихи в своем собственном стиле «джаз-поэзия», коего является основоположником. Гораздо больше биографической информации найдется на сайте автора <http://www.nomer.us/milepebbles.shtml>.

Не является победителем ни в каких литературных конкурсах (не участвует принципиально).

Не состоит членом никакого союза никаких писателей (а зачем?)

Автор считает себя Русским—Калифорнийским поэтом. (Вычесть Калифорнию из его творчества сложно).

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Н и к о л а е в Геннадий Философович — писатель-реалист, фантаст, публицист.

Родился в 1932 году в городе Новокузнецке Кемеровской области в семье служащих. Детство и школьные годы, совпавшие с войной, прошли в Новосибирске.

В 1956 году окончил физико-технический факультет Томского политехнического института. Десять лет работал в атомной промышленности. Участвовал в проектировании институтов Ядерной физики и Неорганической химии Сибирского Отделения АН СССР, защитного оборудования, в ликвидации аварий на п. я. 10 в Усть-Каменогорске.

С 1959 по 1966 годы работал на комбинате п. я. 79 в Ангарске. Неоднократно попадал в зоны повышенной радиации и «газовок», спасали товарищи по работе.

С 1966 по 1969 годы — начальник лаборатории в Иркутском филиале Всесоюзного алюминиево-магниевого института.

С 1970 по 1973 годы — редактор иркутского альманаха «Сибирь».

В 1973 году переехал в Ленинград. После окончания Высших литературных курсов с 1975 года работал в ленинградском журнале «Звезда» в отделе прозы, затем заместителем главного редактора, а с 1988 по 1992 годы главным редактором (впервые в СССР был избран на этот пост писательской организацией в порядке открытого конкурса).

Участник международных конгрессов: Первого (1990) и Второго (1993) антиядерных в Алма-Ате, «Сталинизм сегодня» (1990) в

Зальцбурге и Первого Сахаровского (1991) в Москве.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Русского ПЕН-клуба, редколлегии журнала «Звезда». Номинант премии «Русский Букер — 2002» за роман «Вещи сны тихого психа».

Всего на русском языке издано пятнадцать книг, среди них: «Плеть о двух концах», «Лесная подстанция», «День милосердия», «Зона для гениев», «Мой многоликий атом» и другие.

Печатался в альманахах «Ангара», «Сибирь», в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Звезда», «Нева», «День и ночь», «Природа», «Партнер».

Автор воспоминаний — об Александре Вампилове, Дмитрие Сергееве, Марке Сергееве, Сергее Иоффе, Викторе Астафьеве, Владимире Тендрякове, Андрее Сахарове, друзьях и коллегах по совместной работе в атомной промышленности и в «Звезде».

Переводился на болгарский, венгерский, монгольский, немецкий, французский языки.

С 1999 года живет в Дортмунде (Германия).

В ГРАНЯХ в № 237 опубликован его материал «Кольца удава или Зерна оптимизма на полях пессимизма», а в № 240 — «Встреча с АДС».

П о л е х и н а Майя Михайловна, доктор филологических наук, профессор Одинцовского гуманитарного университета (Московская область).

Родилась в 1955 году в городе Магнитогорске Челябинской области.

В 1976 году закончила факультет русского языка и литературы Магнитогорского государственного педагогического института. В 1981 году — дефектологический факультет Московского государственного гуманитарного университета. В 1989 году в Московском государственном педагогическом институте защитила кандидатскую диссертацию, а в 2001 году — докторскую по филологии «Русская поэзия первой трети XX века: художественная космогония (М. Цветаева и В. Маяковский)». С 2002 по 2010 годы заведовала кафедрой русской литературы XX века им. Л.А. Заманского в Магнитогорском государственном университете. Под научным руководством М.П. выполнено и защищено восемь кандидатских диссертаций.

Живет в Подмосковье.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

С у н д е в Николай Владимирович, поэт и журналист, бессменный главный редактор газеты «Кстати» (Сан-Франциско), — родом

из Молдавии. По образованию филолог. Работал в прессе, затем — редактором в книжном издательстве. Был членом Союза писателей СССР. Издавал и редактировал в 1992—1993 годах первую в Молдавии литературную газету на русском языке «Строка».

Был инициатором создания и одним из руководителей независимой Ассоциации русских писателей Молдовы, действующей поныне.

Автор вышедших в разные годы поэтических книг: «Знак осени», «Сородичи», «Оклик», «Кромка», «Путь ищущий к свободе своей», «Мы солнца не ждали», «Свеченье дня» и книги документальной прозы «Те, кому выпало выжить».

Стихи печатались в периодике и альманахах России, Молдавии, США, Канады, Германии, Израиля.

В ГРАНЯХ в № 247 опубликована его поэтическая подборка «...Летящих и тающих дней».

Тиховская Ольга Александровна. Родилась в Кишиневе (Молдавская ССР). Окончила Кишиневский государственный университет. До распада СССР года работала корреспондентом газет «Железнодорожник Молдавии», «Вечерний Кишинев», «Советская Молдавия», «Славянский вестник», «Кишиневские новости».

С середины девяностых журналистику сочетает с преподавательской и просветительской деятельностью: заместитель редактора газеты «Зеркало» (Кишинев), автор учебных программ Кишиневского бизнес-колледжа, Института менеджмента, Центра «Интер-Логос».

До середины двухтысячных участвует в программах Международного совета по исследованиям и обмену: работает в Анкоридже (Аляска, США), в Колумбии (Южная Каролина, США), сотрудничает с комитетом «Джойнт» в рамках программ возрождения еврейской культуры в бывшем Советском Союзе.

Автор тренинговых программ проекта «Бизнес для России» (США—Россия), руководитель семинара по переподготовке преподавателей—программы корпоративного обучения для сотрудников нефтедобывающей отрасли.

В настоящее время—корреспондент агентства «Новости—Молдова», ведущая рубрики «Эхо XX века» (журнал «Русское поле», Кишинев, Республика Молдова).

Автор просветительских программ «Театр незабытой эпохи», «Крестный путь без юбилеев», «Подзащитный театр XX века», «Уроки Тадеуша Кантора».

В ГРАНЯХ печатается впервые.

*Читайте*  
*в следующем номере:*

Александр ДОРОШЕНКО  
**Книга Чисел**

*К 120-летию рождения Анастасии Цветаевой*  
**«Зовут её Ася. Но лучшее имя ей — Пламя...»**

Марина ЦВЕТАЕВА  
**Сказка матери**

о. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ  
**О музыке и смерти.**  
**Александр Блок**

Глеб ВАСИЛЬЕВ  
**Из лагерных писем**

Стихи Николая Панченко,  
Ивана Переверзина  
и другие материалы

## ОБРАЩЕНИЕ

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,  
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,  
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это делал, — пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои — увы! — часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ — знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2014 году от Р.Х.

За 2013 год вышли №№ 245, 246, 247 и 248, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ  
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI  
BP 24 CHENNEVIER—SUR—MARNE  
CEDEX 94431  
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**[grani.08@mail.ru](mailto:grani.08@mail.ru)**

**Принимаем заявки на подписку 2014 и 2015 годов от Р.Х.**

Учредитель:  
**Journal «Grani»**

**Ассоциация «ГРАНИ»**  
**L'association «GRANI»**  
**De l'association n°751170197**  
**Paris**

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,  
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.*

*Перепечатка без разрешения воспрещается.*

Компьютерная верстка — Мария Гольдман

Подписано в печать 16.05.2014. Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 10.

Тираж 150. Заказ № .

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».

Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.

Тел.: 936-83-28.

# Journal «Grani»

Журнал ГРАНИ — 2014  
№ 249, № 250, № 251, № 252

Для оформления подписки,  
писем и сообщений:

**GRANI**  
**BP 24 CHENNEVIER SUR MARNE**  
**CEDEX 94431**  
**FRANCE**

## Представители:

- |         |   |
|---------|---|
| РОССИЯ  | T. Zhilkina<br>17, Milashenkova str., app. 61<br>127322, Moscow<br>E mail: grani.08@mail.ru |
| АМЕРИКА | K. Troosh<br>600 Fifth Ave<br>San Francisco CA 94118<br>E mail: katia@katias.com            |
| ФРАНЦИЯ | N. Fedorovsky<br>16 square J. B. Pigalle<br>77680 Roissy en Brie<br>Tel.: 01.60.28.36.57    |

**Спрашивайте журнал ГРАНИ  
в библиотеках Москвы и Санкт Петербурга**

**Легко и радостно жить тому,  
кто ищет в других хорошее,  
ищет и находит.**

**Исканием своим помогает он тем,  
в ком ищет, раскрыть и проявить  
светлые г р а н и души. Но для этого  
он прежде всего в самом себе  
должен раскрыть их, должен стремиться  
к совершенствованию.**

**Каждый человек —  
часть органического целого, человечества.  
Совершенствуется часть —  
совершенствуется целое.**

**Тот, кто становится на путь Правды,  
помогает всему человечеству  
стать на тот же путь.**

**А необходимость этого, может быть,  
никогда так не была велика, никогда так  
не ощущалась всеми, как в наши дни.**

**В свете этого большая  
и ответственная задача  
стоит перед теми, кто служит Слову, —  
Слову Правды.**

**Тогда подлинным гуманизмом будет  
проникнуто творчество художника  
и оправдано в служении Человеку,  
Правде человеческой, Правде Божьей.**

  
ГРАНИ № 1, 1946